

## Глава XX

### РАЗВЯЗКА: 1962—1964

Итак, Хрущев согласился убрать с Кубы советские ракеты, и это отступление в Москве было объявлено победой. «Мудрость и хладнокровие» советского правительства спасли мир от «ядерной катастрофы»! — восклицала «Правда» от 30 октября. А 12 декабря сам Хрущев произнес перед Верховным Советом СССР пространную и воодушевленную речь о своем триумфе. Соединенные Штаты «перед лицом всего мира» дали обещания, что не станут нападать на Кубу. Советский Союз и «силы мира и социализма» «утвердили мир. (*Продолжительные аплодисменты.*)» «Разум восторжествовал», и «победило дело мира и безопасности всех стран. (*Бурные аплодисменты.*)»<sup>1</sup>

Федор Бурлацкий, редактировавший речь Хрущева, присутствовал при ее произнесении. «Он просто сиял. Ни укоров совести, ни чувства вины... Лицо... человека, который спас мир». Однако из тех же воспоминаний Бурлацкого явствует, что не все было так гладко. Один из разделов речи, надиктованной Хрущевым, пришлось смягчить — речь в нем шла о критике Пекином советской политики на Кубе, в которой, по словам Мао, «авантюризм» сменился «капитулянством». «Ясно было, — пишет Бурлацкий, — что эта критика глубоко его задела. Он был глубоко оскорблен, был в ярости и негодовании»<sup>2</sup>.

Так верно ли, что Хрущев испытывал ничем не омраченную радость? 12 ноября посол Великобритании Фрэнк Робертс заметил, что Хрущев «выглядит усталым и озабоченным». Правда, во время разговора с послом он «разогрелся и вернулся в обычную хорошую форму», «как самозаряжающийся аккумулятор». Однако в конце долгой оживленной беседы, не удержавшись, проворчал, что «с обе-

их сторон есть идиоты, так и не понявшие» кубинского компромисса<sup>3</sup>. 23 ноября, на пленуме ЦК КПСС, он откровенно оправдывался: «А что, мы должны были вести себя, как офицеры в царское время — пукнул на балу и застрелился от позора?» «Помощь» Кубе от китайцев можно расценить только как издевательство: китайские дипломаты предложили в случае необходимости сдать для кубинцев кровь — «Что за дешевый демагогический ход!» То ли дело Советский Союз: «Наши противозвоздушные орудия стреляли дважды и сбили американский У-2. Отличный выстрел! И в обмен мы получили от США обещание не соваться на Кубу. По-моему, неплохо!»<sup>4</sup> 3 декабря на заседании Президиума он обвинил в собственной скоропостижной капитуляции... Кастро: «Фидель Кастро открыто советовал нам применить ядерное оружие. А теперь отступает и нас за собой тянет». Генерал-полковник Иванов, разработавший операцию «Анадырь», был отправлен в отставку, и Президиум поручил военной разведке расследование его роли в создании предпосылок для кризиса<sup>5</sup>.

По мнению Добрынина, советское руководство восприняло исход кубинского кризиса как «унизительный удар по своему престижу»<sup>6</sup>. Так же, по словам бывшего коллеги Хрущева Петра Демичева, переживал свое поражение и сам Никита Сергеевич. «Он делал хорошую мину при плохой игре, однако по его поведению, особенно по раздражительности, ясно было, что он чувствует себя побежденным»<sup>7</sup>.

Проблема была не только в том, что Хрущев сдался, но и в том, что последовало за капитуляцией. Кеннеди настоял на том, чтобы соглашение по турецким ракетам держалось в секрете — в результате со стороны казалось, будто Хрущев пошел на уступки в одностороннем порядке. Кроме того, Кеннеди, используя как предлог нежелание Кастро пускать на Кубу американских инспекторов, так и не дал формального, письменного обещания не нападать на «Остров свободы»<sup>8</sup>. Этого мало: американцы потребовали убрать с острова не только советские ракеты, но и бомбардировщики Ил-28. Такую цену пришлось заплатить Хрущеву за то, что во время кризиса он не желал называть ракеты ракетами, обтекаемо именуя их «оружием, которое вы рассматриваете как наступательное». Узнав об этом, Кастро пришел в ярость. «Сукин сын... ублюдок... сволочь... *no cojones* [мужик без яиц]... *maricon* [педераст]!» — так отзывался он в частном разговоре 28 октября о «человеке, который спас мир»<sup>9</sup>.

В тот же день в Гавану пришла телеграмма от Хрущева, в которой он обвинял в гибели американского самолета ку-

бинцев — что, конечно, не улучшило настроения Фиделя. Два дня спустя последовало пространное письмо. В ответ на упреки кубинцев, что их мнения никто не спрашивал, Хрущев заявлял, что проконсультировался с Кастро с помощью шифрограммы в ночь с 26 на 27 октября. Однако Фидель отрицал и это, и то, что якобы предлагал нанести превентивный ядерный удар по США. Кроме того, он выдвинул пять условий примирения: прекращение американской экономической блокады, отмена экономических санкций против Кубы, прекращение вторжений в территориальные воды и воздушное пространство острова, уход военно-морских сил США из залива Гуантанамо — то есть пошел в своих требованиях намного дальше Хрущева<sup>10</sup>.

Особенно больно задело Хрущева то, что в своей критике действий СССР Куба явно сближалась с Китаем. На Китай, более важный в идеологическом и геополитическом отношении, Хрущев давно махнул рукой; но Кастро он считал наследником своего революционного дела, чуть ли не кем-то вроде приемного сына. Теперь же его «сын» смотрел на него как на «предателя» (по выражению Сергея Хрущева). Возможно, эта ситуация напоминала Хрущеву разочарование в собственном отце или нелегкие отношения с собственным старшим сыном; так или иначе, ссора с Кастро, по словам Сергея, «ранила отца до глубины души»<sup>11</sup>.

Хрущев решил отправить в Гавану специального эмиссара. Выбор, естественно, пал на Микояна. В это самое время у Микояна умирала жена Ашхен, с которой он прожил сорок лет. Хотя Анастас Иванович и привык ставить государственные дела выше семейных, теперь он колебался. Хрущев настаивал, говоря, что Ашхен уже ничем не поможешь и что сейчас Микоян нужнее на Кубе. «Анастас, — говорил он, — не беспокойся. Если дойдет до самого худшего, мы обо всем позаботимся»<sup>12</sup>.

Кубинцы встретили Микояна холодно — как в аэропорту, так и на самих переговорах, начавшихся 3 ноября. Через несколько дней после его приезда в Гавану пришла телеграмма о смерти его жены. «Возвращаться ли на похороны — смотри сам», — писал старому другу Хрущев. Микоян решил остаться, отправив домой вместо себя своего сына Серго<sup>13</sup>. Такое решение глубоко тронуло Кастро, и переговоры пошли живее. Но сам Хрущев в данном случае проявил редкую бесчувственность. По рассказу Серго, он обещал быть на похоронах — однако не появился. Родственники обратились к Нине Петровне, и та попросила отложить отъезд на кладбище, надеясь, что муж все-таки придет. Хрущев так

и не приехал. А через несколько дней, встретившись с Серго, он как ни в чем не бывало заметил, что не любит ходить на похороны: «Это ведь не на свадьбу прийти, верно?»<sup>14</sup>

Каковы бы ни были причины решения Хрущева, этот эпизод, по словам Трояновского, «оставил горький привкус». Когда Анастас Микоян вернулся в Москву, Хрущев громко восхвалял его успехи на Кубе. «Только он, с его воловьим упорством, мог добиться успеха, — говорил Хрущев Серго Микояну. — Я бы уже давно хлопнул дверью и улетел!» Однако позже он говорил Кастро: «[Микояну] я доверяю меньше всех. Он — хитрый кавказский лис; на него нельзя полагаться. И в 1953-м, когда мы арестовывали Берию, и в 1957-м, с антипартийной группой, я больше всего опасался Микояна»<sup>15</sup>. Микоян никогда не упрекал Хрущева за то, что тот не попрощался с его женой, — но этого ему не простил<sup>16</sup>.

В общей сложности Микоян провел на Кубе двадцать два дня. Фидель заставил его понервничать: осыпал упреками, затем на несколько дней сказался больным. На совместном советско-кубинском праздновании 7 ноября советские офицеры отказались пить за здоровье Кастро, а глава кубинской военной разведки в ответ поднял тост за Сталина. Последнее так разъярило Хрущева, что он потребовал у Микояна допросить всех советских военных, присутствовавших на этом застолье, и всерьез подумывал о том, чтобы прекратить всякую помощь Кубе. «Или они будут сотрудничать, — говорил он 16 ноября на заседании Президиума, — или мы отзовем наших людей». Наконец, 16 дней спустя, Кастро смирился с вывозом советских бомбардировщиков — однако на американские инспекции так и не согласился. Особенно обижало его то, что СССР и США договорились, не спросив его мнения<sup>17</sup>.

Не помогало делу и поведение американцев. Кеннеди был осторожен и не называл в публичных выступлениях выход из кризиса «своей победой». Многие, особенно военные, в самом деле полагали, что потерпели поражение. Однако средства массовой информации восхваляли мудрость президента (например, в двухчасовой передаче Си-би-эс разрешение кризиса было названо «решительным поражением советской политики»), а сам Кеннеди и его люди в «частных» беседах (при явном попустительстве Белого дома неизменно становившихся достоянием общественности) открыто говорили о своем успехе. В одной такой неформальной беседе слова Кеннеди о Хрущеве забавно совпали с бранью Кастро. «Я как следует врезал ему по яйцам», — сказал американский президент<sup>18</sup>.

Последние два года у власти стали временем судорожных метаний и почти нескрываемого отчаяния Хрущева. После бесславного конца кубинской авантюры он обратился к решению других международных проблем — но здесь ему везло еще меньше. Правда, летом 1963-го Хрущев добился некоторых дипломатических успехов; однако прежняя энергия и изобретательность его покинули. Он наконец понял, что блеф и угрозы ведут в тупик, — но так и не научился действовать иначе<sup>19</sup>.

Внутренние проблемы также требовали решительных действий. Желая вдохнуть новую жизнь в советское сельское хозяйство, Хрущев разделил надвое систему управления — однако этим лишь раздражил чиновников, а увеличения урожая так и не добился. Неудачи на сельскохозяйственном фронте удручали Хрущева сильнее всего: он злился, метался в поисках решения, бросался от одного решения к другому — и винил в своих поражениях кого угодно, только не себя.

В октябре 1962-го казалось, что в литературе поднимается очередная антисталинская волна. Однако эта волна скоро захлебнулась — Хрущев пошел на попятный. Обрушивая свой гнев на писателей и художников, он, в сущности, вредил самому себе. Встречи Хрущева с интеллигенцией и в лучшие его дни проходили нелегко и напряженно — теперь же превратились в настоящие позорища. Во время трех таких встреч зимой и весной 1962—1963 годов он, что называется, шел вразнос. Позже, стремясь восстановить равновесие, сделал некоторые примирительные шаги в сторону Твардовского и других либералов, но открыто и недвусмысленно поддержать их так и не решился. В результате либеральная интеллигенция присоединилась к растущему числу его врагов.

Хрущев по-прежнему стремился к реформам. В 1961-м была создана очередная комиссия по расследованию сталинских преступлений под руководством члена Президиума Николая Шверника; в феврале 1963-го комиссия представила Президиуму свой доклад; однако ни к каким реальным последствиям ее заключения не привели<sup>20</sup>. Хрущев обдумывал радикальные экономические реформы и готовил проект новой советской конституции, предполагавшей выборы в советы из нескольких кандидатов и широкую огласку действий государственных органов; однако и эти проекты не вышли из стадии разработки. Словно чувствуя, что в Москве ему никто не рад, Хрущев постоянно ездил — то по стране, то за границу. Однако и эти путешествия не приносили ре-

зультатов, а иногда, как случилось с поездкой в Египет в 1964 году, оборачивались против него.

Чем дальше, тем больше Хрущев настраивал против себя свое окружение — тех, кому был обязан победой в 1957-м. Он все сильнее замыкался, ограничиваясь общением лишь со своими помощниками и советниками, избегал коллег, действовал, не советуясь с ними, насмехался над ними в узком кругу и бранил на публике, взваливая на них ответственность за свои ошибки.

Переговоры с США по Кубе Хрущев решил использовать для решения более глобальных вопросов. В письмах к Кеннеди от 27, 28 и 30 октября он предложил провести переговоры по запрету ядерных испытаний, ликвидации военных баз и даже «всеобщему и полному разоружению». Что же касается германского вопроса, заверял Хрущев президента, — то он уже практически решен. Хрущев предлагал как можно скорее организовать саммит, а в дополнении к письму от 30 октября торопил Кеннеди, призывая «выбрать из представленного списка вопросов те, которые вы готовы обсуждать», и «встретиться, возможно, в США или в любом другом, более удобном для вас месте»<sup>21</sup>. Всего через два дня после кульминации кризиса — и за несколько недель до того, как он был разрешен окончательно — Хрущев наконец согласился на отношения, предложенные Кеннеди в Вене. По словам Трояновского, сомнения шефа в воле и уме американского президента полностью рассеялись. Теперь он готов был не запугивать Кеннеди, а разговаривать с ним честно и на равных.

30 октября советник и спичрайтер Хрущева, бывший обозреватель «Правды» Юрий Жуков, отправился из Андовера (Массачусетс), где участвовал в конференции по советско-американским отношениям, в Вашингтон. Там он переговорил с Томпсоном, Гарриманом, Сэлинджером и еще несколькими лицами, близкими к президенту. Жуков предлагал организовать в ноябре саммит по вопросам разоружения, запрета испытаний и договора о ненападении между НАТО и странами Варшавского договора. (Последнее предложение заместитель министра иностранных дел Кузнецов повторил послу Стивенсону<sup>22</sup>.) Микоян, заехав в Вашингтон по пути домой с Кубы, также сообщил Кеннеди, что «необходимо провести переговоры по наиболее неотложным вопросам» и что Москва «ждет конструктивных предложений» США по Берлину<sup>23</sup>. По словам Юрия Жукова, Хрущев хотел показать китайцам, что уступки по Кубе ведут к соглашени-

ям с Вашингтоном. Да и сам советский руководитель в декабре именно так объяснил свои намерения редактору «Сатердей ревью» Норману Казинсу. «Китайцы говорят, я испугался, — заметил Хрущев (выглядел он отлично — темно-синий пиджак, белая шелковая рубашка, серый галстук с маленькой булавкой, изящной и дорогой, и золотые французские запонки; впечатление портили только проглядывающие в разрезах манжет рукава теплой нижней рубашки). — Конечно, я испугался. Надо быть сумасшедшим, чтобы не бояться войны». Однако теперь, когда страх «помог избежать безумия», «есть одна вещь, которую мы с президентом должны сделать немедленно», — а именно: запретить ядерные испытания и сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Казинс (перед отъездом в Москву он повидался с президентом) ответил Хрущеву, что Кеннеди «искренне желает прекращения испытаний»<sup>24</sup>. Ободренный этим, пять дней спустя Хрущев пошел навстречу США по ключевому вопросу об инспекциях ядерных полигонов. До сих пор СССР отказывался от инспекций вообще, считая их прикрытием для шпионажа, а американцы настаивали на восьми — двенадцати проверках в год. По словам Хрущева, 30 октября представитель США Артур Дин сообщил Кузнецову, что Вашингтон готов удовлетвориться тремя-четырьмя инспекциями в год. Если так, заявил Хрущев, то на две-три он, пожалуй, может согласиться — и надеется заключить договор уже к концу года<sup>25</sup>.

Однако надежды Хрущева, и без того довольно скромные, теплились недолго. Кеннеди отдал своим представителям распоряжение в следующие два месяца «говорить только о Кубе и устранении ракет», а на другие советские предложения «не отвечать, пока не будет разрешена ситуация на Кубе»<sup>26</sup>. В письмах от 3 и 6 ноября президент упоминал о предложениях Хрущева лишь одним-двумя словами, а в письме от 15 ноября и вовсе о них промолчал. Вернулся к этой теме он только 14 декабря — но не самым приятным для Хрущева образом: как бы невзначай поинтересовался, «что думают о запрете на ядерные испытания в Пекине», и возразил Хрущеву, утверждавшему, что берлинская проблема, в сущности, почти решена<sup>27</sup>. А 28 декабря президент объявил, что США по-прежнему настаивают на восьми — десяти инспекциях; что же до обещаний Дина — должно быть, господин председатель его неправильно понял<sup>28</sup>.

Хрущев был в ярости. В феврале он прервал переговоры по запрещению испытаний, а уже в конце марта советский

посол в США Добрынин передал Роберту Кеннеди гневное письмо. Вместо обсуждения вопросов, важных для обеих сторон, писал Хрушев, президент «пытается на нас давить». Вместо того чтобы противостоять «агрессивным кругам» в Вашингтоне, Кеннеди требует от СССР уступок, «потакая дурному настроению какого-то аризонского сенатора [Барри Голдуотера]...». В первые два года своего правления Кеннеди «еще только осваивался» и потому не мог принимать важные решения, — а теперь, оказывается, опять не может, «потому что боится проиграть выборы!» Роберт Кеннеди назвал письмо оскорбительным и отказался его принять; от него не укрылось, что Добрынин был смущен своей миссией<sup>29</sup>.

В середине марта иностранные дипломаты, беседовавшие с Хрущевым, удивлялись необычной «скованности» его манер и поведения. Принимая финского премьер-министра, он «почти не проявлял своей обычной живости» и «монотонно, без выражения» зачитывал заранее подготовленные речи. На конференции выглядел «удрученным», словно «человек, угнетенный тяжелой ношей»<sup>30</sup>.

Даже любимая Пицунда не придала ему бодрости. Приехав туда в апреле, Норман Казинс нашел хозяина «подавленным, даже изможденным». Правда, Хрушев был, как всегда, гостеприимен: возил гостя по окрестностям, с азартом играл с ним самим в бадминтон, а с его маленькими дочками — в медведя (залезал под огромную медвежью шубу, покрывавшую его целиком, а потом, страшно рыча, оттуда выскакивал). Однако, оставшись с Казинсом наедине, с горечью говорил о том, чего ему стоило уломать коллег хотя бы на три инспекции — и для чего же? Чтобы получить от американцев плевков в лицо? «Оказывается, ни на три, ни даже на шесть они не согласны, — говорил он. — А согласны на восемь. И снова меня выставили дураком. Но точно вам говорю: больше такое не повторится»<sup>31</sup>.

Конечно, Хрушев слегка кривил душой: даже после поражения на Кубе раболопные коллеги едва ли осмелились бы ему противоречить. Он говорил об этом, надеясь пристыдить американцев и вызвать у них чувство вины. Однако гнев и досада его были непритворными. В январе, выступая в ГДР, он говорил: «Некоторые могут сказать, что время вроде бы потрачено впустую, что социалистические страны ничего не добились, остро ставя вопрос о германском мирном договоре». Не говоря уж о тех, кто «утверждает, что в карибском конфликте Куба и Советский Союз потерпели поражение»<sup>32</sup>. Разумеется, у Хрущева на все вопросы на-



шлись ответы: но характерно и то, что он вообще счел нужным об этом заговорить и что в речи его ясно слышится попытка самооправдания. Позже, выступая в Москве перед своими «избирателями», он поблагодарил их «за то, что вы собрались здесь, чтобы, если можно так сказать, подкрепить мое моральное состояние»<sup>33</sup>.

В марте 1963 года Совет обороны собрался под Москвой на выездное заседание, посвященное двум программам по разработке новых межконтинентальных ракет. Гуляя по выставке ракет, Хрущев непринужденно беседовал с генералами и конструкторами, восхищаясь тем, как далеко шагнула под его руководством военная техника. Он «говорил без остановки, — вспоминает сын. — Присутствующие внимательно слушали, хотя все это слышали уже не в первый раз».

Собравшиеся на заседание имели возможность выторговать у него что-то для себя. Маршал Гречко продвигал идею увеличения удельной доли тактического ядерного оружия (у американцев его полно, сетовал он, а в Советском Союзе почти нет) и во время своей речи придвигался все ближе и ближе к Хрущеву. «Отойдите-ка на несколько шагов, ладно? — проворчал Хрущев, который терпеть не мог смотреть на рослого Гречко снизу вверх. — И не старайтесь меня уговаривать. Нет у меня денег, и взять их неоткуда». Малиновский пожаловался на нехватку солдат, связанную с падением рождаемости в годы войны. Гречко поддержал его и предложил увеличить срок армейской службы с двух до трех лет, а службы во флоте — с трех до четырех.

«Кто кому служит?! — рявкнул Хрущев, переводя взгляд с одного генерала на другого. — Армия народу — или народ армии? Неужели вам не приходило в голову, сколько пользы могут принести стране молодые люди за этот “лишний” год? При Николае I в армии служили двадцать пять лет — это ваш идеал, маршал Гречко?»

Гречко попытался улыбнуться. Малиновский мрачно уставился в пол. «Вы ничего не понимаете! — продолжал Хрущев распекал своего собеседника. — Если бы понимали, то таких глупых вопросов не задавали бы. Ничего себе, хорошо придумано: мы тратим миллиарды на подготовку нужных стране специалистов — а вы предлагаете их взять за шкуру и отправить маршировать!»

В зале было жарко, и по лицу Хрущева струился пот. Гречко возразил, что вузовская программа военной подготовки ничего не дает, и предложил вместо этого срочную

службу для студентов. Если все попадут в армию, — взорвался в ответ Хрущев, — кого эта армия будет защищать? Отправлять служить студентов, которые могли бы стать ключевыми специалистами в своих областях — это «преступное разбазаривание, пустая трата государственных ресурсов». Более того, это — тут Хрущев припомнил одиозное обвинение, обычное в тридцатые годы, — «вредительство»!

Самих этих угроз было более чем достаточно; но Хрущев продолжал унижать своих генералов. Словно размышляя вслух, он заметил, что вообще-то Советский Союз больше не нуждается в многочисленной армии, что стране достаточно нескольких ракет, минимального обслуживающего персонала — и «народного ополчения», которое живет дома, время от времени проходит переподготовку по месту жительства и превращается в армию только в военное время. Тем более, добавил он, что глобальной войны все равно не будет. Сами эти мысли не были новыми: но впервые Хрущев собрал их воедино и высказал в лицо тем самым людям, которые в случае такой реформы остались бы без работы. Возможно, в перспективе Хрущев был прав: его предложения предвосхитили масштабные сокращения Российской армии при Горбачеве и Ельцине. Однако в марте 1963 года шла холодная война. О чем же думал Хрущев? Либо он не понимал, какое действие произведут его слова на собеседников, — либо об этом не заботился<sup>34</sup>.

Предложение Хрущева разделить партию на индустриальное и сельскохозяйственное крылья на пленуме ЦК в ноябре 1962 года было принято единогласно. Глава отдела культуры ЦК Дмитрий Поликарпов вернулся домой обескураженным: новая система не оставляла места для управления идеологической пропагандой, культурой и образованием. «Знаете, — заметил ему кто-то из коллег, — если это — его уровень компетентности, то любой из нас сможет управлять страной не хуже Никиты!»<sup>35</sup> Журналист Николай Барсуков, бродивший по коридорам в дни пленума, не слышал «о реорганизации ни одного доброго слова — только выражения недоумения и открытого неприятия». Однако когда началось голосование, предложение было принято единогласно и встречено «бурными аплодисментами»<sup>36</sup>.

Большинство коллег Хрущева держали свои сомнения при себе, однако первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Кирилл Мазуров осмелился заговорить с Хрущевым в санатории в Беловежской Пуще (том самом, где почти трид-

цать лет спустя лидеры трех республик подписали соглашение, положившее конец существованию Советского Союза). Когда Мазуров напомнил своему высокому гостю, что на единстве партии настаивал сам Ленин, Хрущев «взорвался». Собственно говоря, взгляды Ленина никакой проблемы не составляли: как раз в это время «Правда» опубликовала очень вовремя «найденную» статью покойного вождя, в которой он ставил экономические задачи партии выше политических и идеологических<sup>37</sup>. Однако возражений от коллеги Хрущев слышать не желал. «Мы так разругались, — рассказывает Мазуров, — что он вызвал своего шофера, сел в машину и уехал. А на следующее утро мне звонит из Москвы Козлов и говорит: “Слушай, какого черта ты там натворил? Мне только что позвонил Никита и попросил подыскать на твое место кого-нибудь другого!”»<sup>38</sup>

В конце концов Мазуров остался на своем месте — однако ни с ним, ни с кем-либо еще из молодых политиков, поддержавших Хрущева во время борьбы с «антипартийной» группой, глава страны больше считаться не желал. А ведь разделение партии напрямую угрожало интересам руководителей на местах: они теряли контроль над своими областями в целом, теперь каждый из них управлял либо только промышленностью, либо только сельским хозяйством. Они могли потерять и места в ЦК на следующем съезде партии. Вместо идеологических вопросов, в которых они были специалистами, теперь они вынуждены были заниматься куда более сложными и опасными экономическими материями. Реформа Хрущева не предполагала создания двухпартийной системы, однако, на взгляд многих аппаратчиков, он двигался именно в этом направлении. Неудивительно, что Секретариат ЦК всеми силами затягивал исполнение его воли, так что примерно в трети регионов СССР партийное разделение так и не было проведено до его отставки<sup>39</sup>.

Может быть, Хрущев сознательно подрывал существующий аппарат, стремясь создать для себя новую политическую базу? Именно так полагает (возможно, судя по себе — сам он также пробовал сделать нечто подобное) Михаил Горбачев<sup>40</sup>. Основная цель Хрущева, без сомнения, заключалась в «оживлении» экономики, особенно сельского хозяйства, и «профессионализации» надзирающих за ним руководителей. Урожай 1962 года удался несколько лучше, чем в 1961-м<sup>41</sup>, однако Хрущев остался недоволен; несколько месяцев спустя он в очередной раз гневно клеймил экспертов, «которые рожь от ячменя не отличают»<sup>42</sup>. Единственным результатом разделения партии стало то, что теперь Хрущев

мог смело винить во всех своих неудачах партийные кадры: «идеальная система» заработала, и, если и теперь ситуация была далека от идеальной — значит, всему виной нерадивость исполнителей.

Раздражительность Хрущева, за которой скрывалась неуверенность в себе, проявлялась не только в вопросах сельского хозяйства. Кто только не попал ему на язык в апреле 1963-го, в речи перед руководителями промышленности и ведущими конструкторами! Главу военной индустрии Дмитрия Устинова только что сместили и заменили более молодым человеком — теперь же Хрущев обещал «с таким же успехом трясти его, как трясли товарища Устинова». Досталось и обычным нарушителям общественного порядка — «ворам, мошенникам и прочим мерзавцам», которых надо «давить, как тараканов», и литераторам, которые «копаются в мусорной яме, выкапывают мусор, сосут его и, конечно, плюются», и писателям, которые увидели за границей «невиданной у нас расцветки панталоны для своей жены и стали вздыхать — вот она какая, Америка, она панталоны лучше нас делает...».

Хрущев по-прежнему верит в чудеса, — сообщил он слушателям далее. Вспомним, как возродилась Юзовка после ужасов Гражданской войны! Все, что нужно людям — грамотное руководство. В связи с этим (как и в некоторых других выступлениях 1963 года) он с похвалой отозвался о восточногерманском документальном фильме «Русское чудо»: «На экране босые люди, для которых даже лапти — недоступная роскошь. Формы нет, приклады у **винтовок** подвязаны веревочками. Но наш рабочий класс идет вперед... в битву за революцию... и побеждает!»<sup>43</sup>

В ноябре 1962 года свободомыслящие писатели и художники еще рассчитывали на продолжение «оттепели». Самой значительной победой этого периода стала публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сам Хрущев публично поддержал издание этой повести на том самом пленуме, который одобрил разделение партии<sup>44</sup>. Однако не прошло и месяца, как началась реакция. Правда, в журналах еще публиковалась «лагерная проза» — однако консерваторы, ждавшие только случая натравить Хрущева на своих врагов-либералов, воспользовались его кубинской неудачей и начали активную игру.

26 ноября 1962 года, в понедельник, в московской студии художника Элия Белютина открылась выставка авангардно-

го искусства. Формально она была закрыта для публики; однако выставку посетили несколько сотен специально приглашенных гостей, в том числе советские чиновники от культуры и западные корреспонденты — и еще несколько сот человек толпились снаружи, надеясь попасть внутрь. Три дня спустя в гостинице «Юность» должна была открыться вторая такая же выставка — однако она была в последний момент отложена. И вдруг выставку перенесли в огромный выставочный зал Манежа, напротив Кремля, где всего месяц назад проводился вернисаж традиционных художников-реалистов под названием «Тридцать лет московского искусства»<sup>45</sup>.

Некоторые неортодоксальные художники поверили, что их «еретическое» искусство наконец-то признано властью. Борис Жутовский и другие всю ночь без отдыха развешивали в зале свои полотна и расставляли скульптуры. Скульптора Эрнста Неизвестного обуревали сомнения: он обратил внимание на важную деталь, которой не заметили другие, — ни одна из работ не получила обязательного предварительного одобрения партийных органов. Неизвестный подозревал провокацию — и, как вскоре выяснилось, был прав<sup>46</sup>. Глава Союза художников Владимир Серов и секретарь ЦК Леонид Ильичев уже «подготовили» Хрущева должным образом, сообщив ему, что некоторые художники дают своим работам аллегорические, высмеивающие его названия: «Иван-дурак на троне», «Кукурузник», «Болтун». Позднее Жутовский слышал, как Серов говорил коллеге: «Отлично мы все придумали! Все прошло великолепно!»<sup>47</sup>

Неизвестно, что в точности наговорили Хрущеву консервативные чиновники от искусства: однако они убедили его посетить выставку. Перед тем как он появился с большой свитой, чиновники выстроили художников в два ряда для встречи с ним, причем в первый ряд поставили людей с ярко выраженными еврейскими чертами. Хрущев вошел, обвел взглядом зал — и выражение его лица (этот момент запечатлен на киноплёнке) начало меняться: от усталости — к любопытству, от любопытства — к недоумению и неуверенности в себе, от неуверенности — к раздражению, от раздражения — к ярости. Художники зааплодировали Хрущеву, однако он заставил их потрясенно замолчать первыми же своими словами: «Дерьмо собачье!.. Осел хвостом мажет лучше!»<sup>48</sup> Затем он набросился на одного молодого художника: «Ты же с виду хороший парень, как ты можешь такое рисовать? Снять бы с тебя штаны да всы-

пать крапивой, пока не поймешь свои ошибки. Как не стыдно! Ты *пидарас* или нормальный мужик? Хочешь уехать? Пожалуйста, мы сами тебя проводим до границы... Мы тебя можем отправить лес валить, пока не вернешь государству все, что оно на тебя потратило. Народ и правительство столько с тобой возились — а ты им платишь таким дерьмом!»<sup>49</sup>

«Кто все это устроил?!» — громовым голосом поинтересовался Хрущев. Вперед вытолкнули Белютина вместе с Неизвестным — широкоплечим, кряжистым человеком, в прошлом парашютистом-десантником. Этого богатыря Хрущев тоже обвинил в нетрадиционной сексуальной ориентации. Повернувшись к министру культуры Екатерине Фурцевой (единственной женщине в свите Хрущева), Неизвестный извинился перед ней за то, что вынужден сейчас сказать, а затем рывкнул: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я вам докажу, какой я гомосексуалист!»

После такого пришлось замолчать даже Хрущеву. По крайней мере, на несколько секунд. Пока Неизвестный не попытался объяснить премьеру, что его помощники играют на его невежестве в вопросах искусства. Это вывело Хрущева из себя: «Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю?! Для кого же вы работаете?»<sup>50</sup>

К счастью для потомства (но не для репутации Хрущева), свидетелям удалось буквально записать следующие его реплики: «Дмитрий Степанович Полянский [член Президиума] рассказывал мне пару дней назад: когда дочь у него выходила замуж, ей на свадьбу подарили картину. Якобы был изображен лимон. Так вот, вместо лимона там было какое-то месиво из желтых линий: выглядело, извините меня, как будто ребенок, когда мать отвернулась, сделал свои дела на холст, а потом растер рукой.

Не люблю джаз. У меня от него колики начинаются... Или возьмите эти новомодные танцы. Они же совершенно неприличные! Танцоры вертят, извините за выражение, определенной частью тела. Это же непристойно! Мне Коган однажды сказал: “Я двадцать лет женат и до сих пор не подзревал, что *это* называется фокстрот!..”

Пусть рисует, пусть продает, если кому-то это нравится, — но нам такие картины не нужны. Неужели, вы думаете, мы потащим эту мазню с собой в коммунизм?

Кто нарисовал вот это? Я хочу с ним поговорить. Ну и зачем нужна такая картина? Унитаз ею закрывать?

Голландские мастера писали по-другому. На их картины можно смотреть через увеличительное стекло — и все равно восхищаться. А от ваших картин блевать хочется, извините за такое выражение!»<sup>51</sup>

После выступления Хрущева в Манеже на важные посты в области культуры были возвращены несколько известных сталинистов. Ободренные консерваторы стремились закрепить успех. Однако либералы не сдавались без боя: семнадцать ведущих интеллектуалов (в том числе двое лауреатов Нобелевской премии, писатели Эренбург, Чуковский и Симонов, композитор Шостакович и кинорежиссер Ромм) обратились к Хрущеву с просьбой «прекратить откат в области искусства к прошлым методам, глубоко чуждым духу нашего времени»<sup>52</sup>.

Такова была ситуация 17 декабря, когда во Дворце культуры на Ленинских горах, неподалеку от резиденции Хрущева, собрались четыреста специально приглашенных гостей. Либеральные писатели и художники надеялись, что гнев Хрущева остыл, и то, что они увидели в коридоре здания, подогрело их надежды. На стенах рядом с соцреалистическими полотнами висели абстракционистские картины того же типа, что и на злополучной выставке. Главный зал украшали скульптуры в том же стиле, в том числе и работы Неизвестного. Столы ломились от яств и напитков; вокруг сновали официантки в белых передничках<sup>53</sup>.

Хрущев и в самом деле хотел помириться с интеллигенцией. 15 декабря он приказал Черноуцану подготовить для этого собрания две речи. Одну, «в таком же резком тоне, что и у них», он поручил Ильичеву, вторую, умиротворяющую, намеревался произнести сам. Да и на самом собрании он поднял тост за Солженицына (тоже здесь присутствовавшего), что недвусмысленно свидетельствовало о его добрых намерениях<sup>54</sup>. Характерно и то, что в перерыве между банкетом и речами Хрущев встал в общую очередь в туалет, чем поверг впереди стоявших в замешательство: они не понимали, «что делать? Уступить место? Вроде подхалимаж. Не уступить — тоже неловко». Слышались возгласы: «Проходите, Никита Сергеевич, пожалуйста, Никита Сергеевич, проходите!» — но Хрущев скромно отвечал: «Да нет, что вы, что вы, я постою»<sup>55</sup>.

Однако послеобеденная речь Хрущева — если ее вообще можно назвать «речью» — отнюдь не носила примирительного характера. Говорил он не меньше двух часов, затем по-

стоянно перебивал говоривших, а в конце собрания снова завладел микрофоном. По рассказу Неизвестного, сидевшего у самого стола президиума, перед Хрущевым лежал текст — однако тот, ни разу в него не заглянув, экспромтом выдал такое, отчего не только у интеллигентов глаза полезли на лоб, но и на лицах многое повидавших членов Президиума отразился нескрываемый ужас<sup>56</sup>.

При входе в зал Хрущев дружески помахал Неизвестному рукой; однако теперь именно скульптор стал мишенью жестокой атаки. «Что это — лошадь или корова? — спрашивал Хрущев, указывая на его работу. — Ясно одно: это издевательство над благородным животным». И далее: «Чтобы так смотреть на женщину, надо быть педерастом. А мы за это сажаем на десять лет»<sup>57</sup>.

От Михаила Ромма, сидевшего поблизости и внимательно наблюдавшего за Хрущевым, не укрылось, что тот из всех сил старается «соответствовать ситуации». «Трудно ему было необыкновенно. Поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая, то есть ну ничего решительно. И так он старался объяснить, что такое красиво и что некрасиво, что такое понятно для народа и непонятно для народа. И что такое художник, который стремится к “коммунизму”, и художник, который не помогает “коммунизму”»<sup>58</sup>.

Но, как ни старался Хрущев держаться на высоте, скоро он съехал к излюбленным туалетным метафорам. «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет... И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!»

Можно предположить, что двигало Хрущевым. «Считаете меня хамом? — как бы говорил он слушателям. — Да вы настоящего хамства еще не слышали! Думаете, вы умнее меня? Так я, дурак необразованный, сейчас вас сконфужу!» В глубине души, возможно, он понимал, что несправедлив к художникам и что гневные упреки разумнее было бы обратиться к себе самому. Не было ли во всем этом представлении подсознательной саморазоблачительной тенденции, стремления, не щадя себя, «показать свое истинное лицо»? Не случайно по крайней мере один из слушателей Хрущева, художник Жутовский, наряду с шоком и отвращением испытывал к нему жалость.

На смешанные и противоречивые чувства, владевшие Хрущевым, указывает и то, что в своей речи он прошелся по



ключевым эпизодам своей биографии. Сперва на сцену явился старый юзовский приятель Пантелей Махиня, шахтер и поэт-самоучка. С Махини Хрущев почему-то перешел на евреев, причем торжественно заверил слушателей, что никогда в жизни не был антисемитом. Затем долго говорил о Сталине, причем озвучил мысль, которую никогда не осмелились бы высказать ему в лицо собравшиеся в зале либералы: «Вот смотрите вы на меня сейчас и думаете: “А ведь ты, Хрущев, и есть первый сталинист!”» Явился на сцену даже Пиня, герой прочитанного Хрущевым в детстве рассказа — тихий сапожник, героически возглавивший побег политзаключенных. «Раз уж мне лезть первым, я буду командовать: ты делай то-то, ты — то-то, то-то, — и стал над ними начальником. Так вот, я — маленький Пиня, и теперь я вами командую!» Самое удивительное, что, если следовать этой аналогии, роль тюремщиков, от которых бежал Пиня, сейчас выполняли... те самые интеллигенты, которых так жестоко распекал Хрущев<sup>59</sup>.

Хамство Хрущева встретило некоторое сопротивление. Когда он проворчал, что «горбатого могила исправит», Евгений Евтушенко выкрикнул с места: «Никита Сергеевич, прошло время, когда ошибки исправляла могила!»<sup>60</sup> Некоторое пассивное сопротивление продолжалось и после этого выступления. Когда Ильичев пригласил 140 писателей и деятелей искусства в ЦК, многие под разными предлогами отказались прийти. Михаил Ромм сказался больным, а затем написал в ЦК письмо, в котором отстаивал свои взгляды, уже подвергшиеся критике<sup>61</sup>.

Новый скандал разразился 7 марта 1963 года. На сей раз ареной стал Свердловский зал в Кремле — величественное помещение с белоснежными колоннами и высоким синим куполом. Здесь собралось более шестисот человек: помимо писателей, художников и артистов, присутствовали партийные и комсомольские функционеры, а также специалисты по идеологии и пропаганде, съехавшиеся со всей страны. На этот раз банкета не было: слушатели чинно сидели рядами перед сценой, на которой располагался президиум<sup>62</sup>.

С самого начала встречи присутствующих поразил резкий контраст между Хрущевым и его подчиненными. Брежнев, Суслов и прочие сидели неподвижно, с каменными лицами; Никита Сергеевич, казалось, с трудом мог усидеть на месте, в любой момент готовый взорваться.

Общение власти с интеллигенцией продолжалось два дня. Поначалу Хрушев старался держаться спокойно и гостеприимно. Он извинился за отсутствие накрытых столов, но пообещал гостям, что в перерывах будет работать буфет, и добавил: «Так что, пожалуйста, угощайтесь». Он похвалил Солженицына и Твардовского и заметил, что сталинские лауреаты, хоть и не были чистыми «лакировщиками», все же, конечно, немало «приукрашивали» действительность. «Мы и сейчас думаем, что Сталин был предан коммунизму», — заметил он; однако «в последние годы жизни Сталин был тяжело больным человеком, страдал подозрительностью и манией преследования»<sup>63</sup>.

Как и в декабре, помощники подготовили для Хрущева взвешенную и умеренную речь — и, как и в декабре, он «не взял оттуда ни слова»<sup>64</sup>. поприветствовав гостей, он сделал такое объявление: «Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал». И уточнил: речь идет о «холуях буржуазной прессы», передавших иностранным корреспондентам содержание его декабрьской речи, результатом чего стали нелестные материалы в органах западной печати. «Я понимаю, вам неудобно так сразу встать и объявиться; так вы во время перерыва, пока мы все тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?»<sup>65</sup>

Во время встречи Михаил Ромм осмелился выступить в защиту фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», вызвавшего горячие споры и неприятие консерваторов. Юный герой фильма видит во сне своего отца, погибшего во время войны, и спрашивает у него, как ему жить. «Сколько тебе лет?» — спрашивает отец. И, услышав, что сыну двадцать два, отвечает: «А мне — всего двадцать», — и исчезает. Смысл этой сцены, объяснил Ромм, в том, что юноша должен жить своим умом, как его отец, который в его возрасте уже сражался и погиб за Родину.

— Не-ет, нет-нет-нет, — запротестовал Хрушев. — Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл... Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.

Быть может, в этот момент Хрушеву вспомнился собственный отец — или собственный сын? Ромм попытался защитить свою точку зрения, но Хрушев обиженно перебил его:

— Что я, не человек? Свое мнение не могу высказать?<sup>66</sup>

Еще более экстравагантный диалог произошел после то-

го, как старая приятельница Хрущева Ванда Василевская пожаловалась на двух писателей, осмелившихся в интервью польской газете с похвалой отозваться о Пастернаке. Вначале она их не назвала, но Хрущев потребовал огласить имена. Это оказались Андрей Вознесенский и Василий Аксенов. В зале раздались крики: «Позор!»; слышались требования, чтобы «преступники» показались народу. На сцену поднялся Вознесенский. Свое выступление он начал с цитаты из Маяковского — но не успел прочесть и двух строк, как его прервали возгласы из президиума:

— Клевета!.. Клеветник!.. Что вы тут делаете?.. Смотрите на советскую власть из туалета!.. Не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери... Мы вас не держим... Вам нравится там, за границей, у вас есть покровители — катитесь туда! Получайте паспорт, в две минуты мы вам оформим. Громыко здесь? Здесь. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда!<sup>67</sup>

Выступающие на сцене стояли к президиуму спиной, и Вознесенский не сразу понял, кто кричит. Когда он обернулся, ему показалось, что Хрущев «не в своем уме»: он орал, «вращая глазами и брызгая слюной, как в истерическом припадке»<sup>68</sup>. Вознесенский пытался продолжать, но Хрущев не давал ему сказать ни слова. Когда Вознесенский начал декламировать свое стихотворение о Ленине, Хрущев снова взорвался:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей? Три с половиной миллиона. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто!<sup>69</sup> — И добавил: — Вам поможет только скромность. Вскружили голову. Родился принцем. В двадцать девять лет я был ответственным, а вы безответственный!<sup>70</sup>

В середине этой инвективы Хрущев вдруг прервался и начал тыкать пальцем куда-то в задние ряды. Ему показалось, что он узнал Аксенова.

— Эй, вы! Вон вы, агент [с ударением на первом слоге]! Вот тот тип в красном свитере и в очках. Да не вы — он!

Это был не Аксенов. Хрущев указывал на художника Иллариона Голицына, добропорядочного и благонамеренного реалиста.

— Так это вы — Аксенов! — кричал Хрущев. — Я знаю, что вы делаете — мстите нам за смерть своего отца!

Хрущев думал, что отец Аксенова погиб в сталинских чистках. Родители Аксенова действительно провели много лет в лагерях, но оба остались живы: его мать, Евгения Гинзбург, впоследствии рассказала о пережитом в знаменитой книге «Крутой маршрут».

— Нет, я не Аксенов, — возразил Голицын.

— Как не Аксенов? — проворчал Хрущев. — Кто вы?

— Я... Я — Голицын!

— Что, князь Голицын?

— Да нет, я не князь, я... я — художник Голицын, я... художник-график... я реалист, Никита Сергеевич, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать...

— Не надо! Ну, говорите.

— А что говорить?

— Как — что? Вы же вышли, говорите!

— Я не знаю, что говорить... я... не собирался говорить.

— Но вы понимаете, почему вас вызвали?

— Да... я не понимаю...

— Как — не понимаете? Подумайте..

— Может быть, потому, что я стихотворению товарища Вознесенского аплодировал?

— Нет, — отрезал Хрущев.

— Не знаю.

— Подумайте и поймете, — повторил Хрущев.

— Никита Сергеевич, — пробормотал совершенно потерявшийся Голицын, — можно мне работать?

— Можно, — великодушно разрешил первый секретарь ЦК КПСС<sup>71</sup>.

По залу пронесся истерический смех. Пробормотав что-то в адрес людей, которые и одеваться прилично не умеют, и аплодируют не вовремя, Хрущев отпустил «лже-Аксенова» и начал новый абсурдистский диалог, уже с настоящим Аксеновым.

— Вам что, не нравится советская власть?

— Да нет, — отвечал Аксенов. — Я стараюсь писать правду, то, что думаю.

— Вы нам мстите за отца, верно? Поэтому вы клевете на нас. Что ж, он погиб, мы о нем скорбим.

— Мой отец жив.

— Как это жив? Как это жив?

— Мои родители были репрессированы при Сталине, но после XX съезда реабилитированы. Мы связываем это событие с вашим именем<sup>72</sup>.

Эти слова натолкнули Хрущева на еще одну излюбленную и болезненную тему — собственную роль при Сталине. В сво-

ей пространной речи он, противореча самому себе, объяснил, что, во-первых, ничего не знал о репрессиях; во-вторых, знал, но, как и все, молчал из страха перед Сталиным; а в-третьих, молчать все же не мог...<sup>73</sup> Речь его становилась все более путаной, производила впечатление бессвязного бреда. Михаилу Ромму показалось, что Хрущева «подогревали» напитки, которые ставил перед ним каждые десять минут молчаливый помощник и которые Хрущев опрокидывал в себя одним глотком. С тяжким недоумением слушали своего бывшего кумира либеральные интеллигенты; и даже на лицах консерваторов, у которых были все основания для радости, отражались нескрываемое отвращение и презрение к Хрущеву.

Весной — летом 1963 года Хрущев несколько приободрился. Причиной душевного подъема стало прежде всего примирение с Фиделем Кастро. Однако даже в присутствии Кастро Хрущеву не удавалось скрывать резкие «скачки» настроения, свидетельствовавшие о глубоком душевном неблагополучии.

В январе 1963 года советский лидер, желая восстановить хорошие отношения с Кубой, направил Кастро письмо на двадцати семи страницах, в котором приглашал его в СССР. Фидель не сразу принял приглашение, но, прибыв в Москву 25 апреля, пробыл в Советском Союзе полтора месяца и объехал полстраны, от Мурманска до Средней Азии. По воспоминаниям Николая Леонова, офицера КГБ, переводчика у высокого гостя, официальные переговоры Кастро с советским руководством занимали незначительную часть в программе по сравнению с митингами, застольями, осмотром достопримечательностей и неформальными беседами. Хрущев организовал для гостя торжественный прием на Красной площади и парадный автопробег по Москве. Руководители почти все время проводили вместе — в особняке Хрущева на Ленинских горах, на подмосковной даче, в охотничьем заказнике Завидово, примерно в ста километрах от столицы. Сохранилось множество фотографий, на которых Кастро позирует рядом с Хрущевым и членами его семьи, а также снимков Хрущева и его родных, сделанных самим Кастро.

Чтобы сгладить напряжение в отношениях, вызванное Карибским кризисом, Хрущев был готов на все. Кастро хочет увидеть ракетные базы, запретные даже для иностранных коммунистов? Пожалуйста! Орден Ленина для высокого гостя? Носите на здоровье! Во время переговоров о военной помощи Кубе при упоминании о числе единиц поставляемой техники Хрущев приказывал Малиновскому:

«Добавьте от меня лично еще один». Получив список вооружений, отправляемых на Кубу, члены Генерального штаба были немало удивлены хаотичному набору танков, артиллерии и других видов оружия<sup>74</sup>.

Первого мая Кастро вместе с советскими руководителями наблюдал с трибуны Мавзолея за праздничной демонстрацией. Затем последовал роскошный обед в Кремле — и во время обеда, на глазах у перепуганных коллег, Хрущев начал вдруг на повышенных тонах спор о том, кто с кем не проконсультировался во время Карибского кризиса. В самый разгар перепалки Леонов опрокинул бутылку, облив коньяком трезвенника Суслова. Это позволило Хрущеву смягчить напряжение, заметив, что «у нас посуда бьется только к счастью».

В Завидове, после охоты на кабанов, двое лидеров уединились в охотничьем домике на острове, чтобы просмотреть переписку Хрущева с Кеннеди во время недавнего кризиса. «Читайте вслух, — приказал Хрущев Леонову — единственному, кто при этом присутствовал. — Переведите для Фиделя все от начала до конца». Через несколько часов Хрущев спросил Кастро: «Вы удовлетворены?» Кастро ответил: «Да», — и больше к этому вопросу не возвращался<sup>75</sup>.

Хрущев делился с Кастро своими соображениями по всевозможным вопросам: о причинах советско-китайского конфликта (которые и для самого Хрущева оставались «неясны»), о советско-албанском конфликте (в котором оказался виноват Сталин, «в последние годы жизни уже душевнобольной человек») и даже о роковых чертах *собственной* страны: «Вот ты думаешь небось, что я, первый секретарь, могу что-нибудь изменить в этом государстве. Черта с два! Какие бы реформы я ни предлагал и ни проводил, в основе своей все остается по-прежнему. Россия — как кадушка с тестом: сунешь в нее руку до самого дна — и вроде ты хозяин положения, а вынешь — и останется едва заметная ямка, да и та на глазах затянется, и останется ноздреватая рыхлая масса»<sup>76</sup>.

Чтобы править в России, надо быть безжалостным. «И через сорок лет после Октябрьской революции нам пришлось применять силу» в Тбилиси и в Новочеркасске. Он советовал своему собеседнику «давить [антиправительственную деятельность] быстро и решительно», даже «открытым огнем», и, если нужно, не останавливаться перед уничтожением врага на чужой территории. «Бывают ситуации, — говорил Хрущев, — когда службы безопасности вынуждены уничтожать лидеров контрреволюции в изгнании». Несомненно, он имел в виду убийство агентами КГБ Степана Бандеры, совершенное в октябре 1959 года<sup>77</sup>.

А вот с интеллигенцией, напротив, нужно обходиться мягко: «Труднее всего иметь дело с писателями и художниками. Они воображают, что смогли бы управлять государством лучше, чем партия. Они поучают нас, что и как делать, им нравится быть духовными вождями общества. Но они понятия не имеют о дисциплине. С такими людьми надо быть очень осторожным, не забываться, потому что они только и ждут возможности выставить тебя в дурном свете»<sup>78</sup>.

На охоте в Завидове маршал Гречко стрелял лучше Хрущева, а тот в отместку грубо высмеивал его, словно старшина новобранца. Когда Брежнев, председатель Президиума Верховного Совета, вручил Кастро золотую звезду Героя Советского Союза, Хрущев подошел, демонстративно снял награду с широкой груди Кастро и прикрепил ее заново, на сантиметр или два повыше. Однажды на даче, во время стрельбы по мишеням, когда никому не удалось попасть в цель, Хрущев крикнул: «Позовите Леню [Брежнева]! Ни на что другое он не годен, но по тарелочкам стрелять умеет!»<sup>79</sup>

Леонов заметил, что поведение Хрущева «смущало» его коллег. «Это их расстраивало. Это было очевидно. Но они не возражали — только прятались друг у друга за спиной и старались не попадаться ему на глаза»<sup>80</sup>.

Даже в июне 1963 года Хрущев продолжал уверять себя, что Карибский кризис окончился его победой. Через неделю после отъезда Кастро он сообщил Президиуму о результатах переговоров с кубинцем. «Будь мы трусами, — говорил он кубинскому лидеру, — неужели стали бы вообще размещать на Кубе ракеты? Разве это трусость? Нет. Разве это поражение? Нет. Это шаг вперед». Конечно, «лучше было бы, если бы нам не пришлось убирать ракеты — это и дураку ясно». Однако «американцы хотели стереть вас с лица земли. Так кто же потерпел поражение? Кто не получил того, чего хотел? Мы добились своей цели: значит, мы выиграли, а они проиграли»<sup>81</sup>.

После памятного выступления Хрущева, когда он обрушился на либеральных писателей и художников, консерваторы удвоили свои усилия. Единственный способ их остановить, говорил друзьям Твардовский, — поговорить с Хрущевым; впрочем, он опасался, что и это не поможет. В апреле сталинистский журнал «Октябрь» опубликовал разгромную статью о Солженицыне. «Как они себе это позво-

ляют? — спрашивал себя помощник Твардовского Владимир Лакшин. — Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым [то есть «Один день Ивана Денисовича»], так просто стали бы разносить»<sup>82</sup>.

В июне состоялся пленум ЦК по идеологии и культуре: на мероприятие, продолжавшееся несколько дней, съехались со всей страны более двух тысяч человек. Поначалу Хрущев старался сохранять равновесие и контроль над собой. Он с похвалой отозвался о Твардовском, произнес несколько инвектив в адрес Сталина и довольно положительно охарактеризовал состояние российской экономики; однако нервозность его ярко проявилась в раздражительности. Так, заметив, что двое членов ЦК шепчутся во время его речи, Хрущев набросился на них: «Минуточку! Вы что здесь ухмыляетесь? Что вам тут смешно? Вы находитесь на заседании ЦК, надо уметь вести себя прилично... Как вы позволяете вести себя в присутствии членов Центрального Комитета партии! Бе-зо-бра-зи-е!»<sup>83</sup> Разумеется, все остальное время работы пленума те просидели, как каменные.

Но спектакль был еще не окончен. Когда Суслов и Ильичев готовы были подвести итоги, Хрущев вдруг снова вышел к микрофону, заявив, что хочет произнести еще одну небольшую речь. Небольшая речь растянулась на два с половиной часа: касалась она самых разнообразных предметов — от писателей, которых следовало бы исключить из партии, до Мао Цзэдуна, который пытался унижить Хрущева демонстрацией своих способностей пловца. После этого, когда членам ЦК осталось лишь единодушно одобрить принятые на пленуме резолюции, Хрущев в припадке демократического великодушия призвал всех гостей — две тысячи человек — проголосовать вместе с ними. Члены ЦК были неприятно поражены; гости, как вспоминает Михаил Ромм, тоже. «И все поднимают, как один человек, руки за резолюцию, которую никто не читал... Вот такой был человек этот Хрущев»<sup>84</sup>.

В июле того же года едва не разразился еще один скандал, на этот раз на ниве кинематографии. В Москве проходил Третий международный кинофестиваль, жюри которого, где из тринадцати человек девять представляли коммунистические страны, присудило первый приз модернистскому, сюрреалистическому фильму Федерико Феллини «Восемь с половиной». Ильичев хотел вмешаться в решение жюри, но опасался международного скандала. Глава Госфильмофонда Алексей Романов тоже не знал, что делать. «Убирайтесь, — заорал Хрущев на пришедшего к нему за советом



Романова, — и пришлите мне этот фильм! Я его сам посмотрю, раз уж вы ничего в своем деле не понимаете»<sup>85</sup>.

Хрущев смотрел «Восемь с половиной» у себя на даче. Поначалу его сын пытался комментировать фильм, объясняя гениальность Феллини, — но, по словам Сергея, «отец пришел в ярость: “Убирайся и не мешай. Я здесь не для развлечения сижу”». Позже он сознался Сергею: «Я ничего не понял, но международное жюри присудило ему первый приз. Что же я могу сделать? Они в этом разбираются лучше, чем я, на то они и специалисты. И почему это вечно сваливают на меня? Я уже позвонил Ильичеву и велел ему не вмешиваться. Пусть решают профессионалы»<sup>86</sup>.

Что ж, в этом случае Хрущев проявил похвальное здравомыслие. Временами создавалось впечатление, что роль критика искусств, навязанная ему враждующими литературно-художественными лагерями, его тяготит. Консультант ЦК по культуре Георгий Куницын вспоминает случай, когда украинское партийное руководство уволило нескольких киевских чиновников за одобрение фильма Киры и Александра Муратовых «Наш честный хлеб», который партийным боссам показался чересчур либеральным. Не сообщив никому о том, что произошло в Киеве, Куницын показал фильм Хрущеву. Тому фильм понравился. Когда об этом узнали в Киеве, решение было немедленно отменено, и в Москве о нем даже не слышали<sup>87</sup>. С другой стороны, как рассказывает Микоян, консерваторы, такие, как Суслов и Ильичев, восстанавливали Хрущева против либералов, пользуясь его «необразованностью». В результате, заключает Микоян, Хрущев «с удивительной легкостью настраивал против себя интеллектуалов»<sup>88</sup>.

Тем же летом, когда известия о том, что в Москве творится какой-то идеологический погром, достигли Запада, советники Хрущева по культуре решили доказать, что это не так. Они организовали в Ленинграде конференцию по современному роману, на которой должны были присутствовать писатели как из коммунистических, так и из западных стран. Конференция проходила под эгидой ЮНЕСКО и «левого» Объединения европейских писателей. В качестве почетного гостя был приглашен Илья Эренбург, ветеран советской литературы, много лет проживший в Европе и имевший прочные культурные связи с Западом. На встрече с интеллигенцией 7 марта от Хрущева досталось и Эренбургу («Вы едите наш русский хлеб, а мечтаете о французских пирожных. Может быть, ваше место там, а не здесь?»<sup>89</sup>) — однако, когда Эренбург отказался участвовать в конференции, Хрущев сам уговорил его поехать.

На встрече с Эренбургом Хрущев держался идеально. Не поучал, не перебивал — спокойно дал выговориться. Предыдущие их столкновения приписал непониманию и дурным советам помощников и с добродушной улыбкой попросил Эренбурга «не держать на него зла». Когда Эренбург выступил в защиту Евтушенко и Вознесенского, Хрущев не стал спорить. Он даже предложил Эренбургу проходить цензуру лично у него: «Мы с вами старики, какая нам нужна цензура?» С усмешкой рассказал, как «поставил на место» китайцев — и буквально просиял, когда Эренбург заметил, что благодаря разоблачению сталинских беззаконий его имя войдет в историю<sup>90</sup>.

Хрущев хотел сам поехать в Ленинград, но потом передумал и вместо этого пригласил небольшую группу писателей (в том числе британцев Энгуса Уилсона и Уильяма Голдинга и французов Алена Роб-Грийе и Натали Саррот) после конференции к себе в Пицунду. Стоял чудесный солнечный август. Хозяин гордо показывал гостям свою виллу, бассейн со стеклянными стенами, в порядке светской беседы клеймил империализм, китайцев и даже своих западных гостей. Закончил он так: «Вы, интеллектуалы, конечно, служите буржуазии и поддерживаете ее, но мы на все это плюем. У нас тоже сначала не все писатели присоединились к революции, но мы их призвали к порядку. Можете называть нас варварами, но мы в своей политике вам угождать не собираемся. Помните об этом и не пытайтесь заставить нас плясать под свою дудку»<sup>91</sup>.

Лидер французских коммунистов Морис Торез заметил Хрущеву, что никто из французских коммунистических писателей в Пицунду приглашен не был. При этих словах, вспоминает помощник Хрущева, «лицо его омрачилось». В результате роскошный обед продолжался мрачно, почти в полном молчании. Помощники Хрущева растерянно переглядывались, не понимая, как им исполнить отрывистый приказ шефа, потребовавшего, чтобы на поэтических чтениях, назначенных после обеда, «никаких буржуев» не было. Им удалось отправить домой лишь одного шведского писателя, еще до обеда узнавшего, что кто-то из членов его семьи внезапно заболел. Сами поэтические чтения, продолжавшиеся сорок минут с перерывом на перекур (в присутствии Хрущева курить не разрешалось), спасли положение. Твардовский прочел смелую антисталинскую поэму «Теркин на том свете», не прошедшую цензуру. Хрущев слушал внимательно, иногда хмурился, но часто улыбался и даже смеялся, а после чтения пожал Твардовскому руку. Не-

сколько дней спустя поэма была опубликована в «Известиях» — но не раньше, чем Хрущев проконсультировался с Игорем Черноуцаном, и тот торжественно заверил его, что ничего антисоветского в стихах Твардовского нет<sup>92</sup>.

К середине 1963 года значительно улучшились отношения с Вашингтоном. В июне президент Кеннеди произнес в Американском университете Вашингтона речь, в которой с похвалой отозвался о «многочисленных достижениях русского народа» и признал, что во время Второй мировой войны русские пострадали более всех прочих — «разрушения, постигшие Россию, для нас были бы равнозначны полному опустошению страны к востоку от Чикаго». И Советский Союз, и Соединенные Штаты находятся «на одной маленькой планете. Все мы дышим одним воздухом. Все мы волнуемся за будущее наших детей. И все мы смертны». Кеннеди призвал к пересмотру отношений с СССР, предложив начать с запрета на испытания ядерных вооружений, и пообещал, что скоро в Москве состоятся советско-американо-британские переговоры на высшем уровне<sup>93</sup>.

Для Хрущева речь Кеннеди стала настоящим бальзамом: много позже он назвал ее «лучшей американской речью со времен Рузвельта». Трояновский и другие помощники советовали шефу ответить любезностью на любезность<sup>94</sup>. Несколько дней спустя СССР и США подписали договор об установке прямой телефонной линии для переговоров в кризисных ситуациях. А в последние две недели июля Хрущев, Аверелл Гарриман и англичанин лорд Хейлшем заключили наиболее важное соглашение по контролю над вооружениями со времен начала холодной войны — Договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, под водой и в космическом пространстве.

За те десять дней, пока шли переговоры, Гарриман успел приглядеться к Хрущеву. В апреле Хрущев показался ему «старше своих лет, вялым, уставшим». В июле он, казалось, приободрился; однако Гарриман обратил внимание, как зло тот высмеивал своих генералов, именуя их «умниками», которые на службе только и умеют, что сорить деньгами, а выйдя в отставку, все как один пишут мемуары. За обедом с Гарриманом и венгерским руководителем Яношем Кадаром Хрущев так наскикивал на Гречко (уверяя, что собирается его уволить и заменить каким-нибудь американским генералом), что тот не мог скрыть обиды и злости.

23 июля Хрущев, Брежнев и Кадар вместе с женами неожиданно появились на стадионе в Лужниках, где Гарриман смотрел соревнования по легкой атлетике между советской и американской сборными. Когда после соревнований русские и американцы промаршировали по стадиону рука об руку, на глазах у Хрущева выступили слезы. В тот же вечер он, совершенно игнорируя Кадара, потчевал Гарримана рассказами о Сталине; американец заметил, что, «несмотря на обвинения в адрес Сталина, Хрущев, несомненно, питает к нему определенное почтение»<sup>95</sup>.

Во время переговоров Хрущев пробовал прощупать почву для дальнейшего взаимодействия, намекая на заключение между НАТО и странами Варшавского блока договора о ненападении. Он так давил на американцев по этому вопросу, что Гарриман начал опасаться за ход переговоров. Как писал Хрущев в письме Кеннеди от 27 июля, пакт о ненападении «станет не только важным шагом к нормализации всей мировой ситуации, но и обозначит начало грандиозного поворота в истории современных международных отношений...»<sup>96</sup>. Однако западная сторона возражала, утверждая, что пакт о ненападении сам по себе не исключает возможность агрессии. Самое большее что обещал Гарриман — снова поднять этот вопрос после заключения договора о запрещении ядерных испытаний.

Хрущев неохотно согласился. Он надеялся, что подписывать договор приедет в Москву сам Кеннеди; однако тот прислал вместо себя Раска (с делегацией сенаторов), дав ему указание «поддерживать настрой, установленный Гарриманом», но не предпринимать никаких конкретных шагов.

Торжественная церемония подписания договора в бело-мраморном Екатерининском зале Кремля смягчила неудовольствие Хрущева — как и последовавший затем грандиозный банкет с яствами, напитками, речами и знаменитой гершвиновской «Love Walked In» в исполнении советского симфонического оркестра. Хрущев пригласил Раска и его спутников в Пицунду, где госсекретарь США проявил чудеса дипломатической обходительности: неизменно проигрывал Хрущеву в бадминтон (хотя был куда моложе и здоровее его), неуклюже барахтался в бассейне, однако, когда речь зашла о Берлине, не уступил ни на йоту<sup>97</sup>.

На встрече 5 августа Хрущев показался английскому министру иностранных дел «усталым, но довольным». «Даже Громыко старался улыбаться, — продолжает министр, — и общая атмосфера была удивительно приятной и располагающей»<sup>98</sup>. По словам Сергея Хрущева, его отец был не про-

сто «очень доволен» — он был буквально «счастлив». Счастье его происходило главным образом из уверенности в будущем: отношения с Кеннеди наладились, и впереди их ждали (если Кеннеди изберут на второй срок) шесть лет плодотворного партнерства<sup>99</sup>.

Хрущев нуждался в Кеннеди и полагал, что и Кеннеди в нем нуждается. В долгой беседе с Добрыниным 26 августа президент высказался в пользу мер, способных предотвратить внезапное нападение, и за запрет на оружие массового уничтожения в космическом пространстве. 15 ноября Роберт Кеннеди предложил провести еще одну встречу Хрущева с президентом, где оба лидера могли бы «спокойно посидеть два-три дня и все обсудить». «Если бы Кеннеди остался жив», замечает Добрынин, отношения между двумя странами, несомненно, улучшались бы и дальше, тем более что «Хрущев не хотел повторения неприятной и бесполезной встречи 1961 года в Вене». «Двух неудачных саммитов» он позволить себе не мог; ему «необходимо было продемонстрировать [советской] общественности успехи на дипломатическом фронте»<sup>100</sup>.

22 ноября, окончив вечернее чтение документов, Хрущев уже поднимался к себе в спальню, как вдруг зазвонил правительственный телефон. Звонки в такое время случались нечасто, и, как правило, Хрущев не объяснял родным, кто и по какому поводу звонил. Однако сейчас, повесив трубку, он сообщил: из США пришло известие о покушении на президента Кеннеди. Сидя за столом вместе с Ниной Петровной, Сергеем и Леной, он ждал, когда перезвонит Громыко. Хрущев приказал ему связаться с послом и проверить информацию, однако растерявшийся Громыко, вместо того чтобы позвонить Коулеру, пытался связаться через океан с Добрыниным. Наконец ошибка была исправлена, и в особняк на Ленинских горах пришла страшная весть: президент убит.

Хрущев был потрясен. Трояновский заметил, что он воспринял эту новость как «личный удар». На следующий день Хрущев приехал в Спасо-Хаус, чтобы расписаться в книге соболезнований; многие видели, что по щекам его текли слезы. К официальному письму с выражением соболезнования он присовокупил личную записку к вдове президента<sup>101</sup>.

Глава КГБ Семичастный заверил Хрущева, что предполагаемый убийца Кеннеди Ли Харви Освальд, почти три года проживший в СССР, не работал на советскую разведку. Хрущев подозревал, что убийство организовано реакционными кругами США для прекращения разрядки. В рапортах

КГБ говорилось, что новый президент Линдон Джонсон «придерживается консервативных и реакционных взглядов»; согласно советским источникам, кто-то из друзей семьи Кеннеди отзывался о Джонсоне как о «калифе на час», «не способном реализовать незаконченные планы Кеннеди»<sup>102</sup>. На самом деле, возможно, Джонсон был непрочь установить добрые отношения с Москвой, однако его отвлекали другие проблемы — прежде всего выборы и Вьетнам. Кроме того, СССР относился к нему без той теплоты и доверия, которые снискал Кеннеди. С Кеннеди, говорил Хрущев сыну, я готов был идти на риск; но теперь, когда у власти Джонсон, «все пойдет по-другому»<sup>103</sup>.

Вместе с надеждами на советско-американскую разрядку рухнули и надежды на улаживание отношений с Мао. После нелегкой зимы, в продолжение которой Москва и Пекин обменивались обвинениями на различных партийных конгрессах, решено было организовать переговоры, которые начались в Москве 5 июля<sup>104</sup>. Переговоры эти представляли собой нечто среднее между ритуальным танцем, во время которого каждая сторона произносила инвективу в адрес другой, а затем терпеливо ждала, пока другая ответит тем же, и бурной склокой, во время которой Хрущев аукнулись его обвинения в адрес Сталина. «Убийца, преступник, бандит, дурак, идиот, дерьмо — сколько грязных и бранных слов мы слышали из уст товарища Хрущева!» — восклицал китайский делегат Кан Шэн. Неужели Хрущев полагает, что «дурак» сумел бы обеспечить страну ядерной бомбой? Могли ли коммунисты всех стран позволить «куску дерьма» собой руководить? Хрущев обвиняет Сталина во всех возможных грехах — но неужели сам он «абсолютно чист»?<sup>105</sup>

Дэн Сяопин, глава китайской делегации, держался спокойнее и порицал Хрущева в основном за тщетное стремление к разрядке. Всякий раз, «хватаясь за соломинку», предложенную ему Эйзенхауэром или Кеннеди, Хрущев «выходил из себя от радости и от гнева» на братские компартии, не желавшие следовать за ним. Однако, продолжал Дэн, «когда ваша ошибочная политика приводила к поражениям, вы впадали в ярость... и жертвовали интересами всего социалистического лагеря, чтобы угодить империалистам и реакционерам...»<sup>106</sup>.

20 июля советско-китайские переговоры прервались. А несколько дней спустя был заключен Договор о запрещении

ядерных испытаний. Пекин уже много раз выступал против подобных договоров, ограничивающих свободу Китая в совершенствовании ядерной бомбы, и теперь Мао не стеснялся в выражениях, именуя договор «грязным трюком», «обманом» и «предательством». СССР отвечал соответственно. Началась настоящая пропагандистская война, затронувшая и другие компартии и скоро перекинувшаяся на международные организации. Хрущев и Мао перебрасывались бранью и личными обвинениями; поднимался даже взрывоопасный вопрос о спорных участках советско-китайской границы<sup>107</sup>. Однако быстро нараставшее отчуждение имело и свои положительные стороны. Во-первых, Хрущеву не приходилось больше беспокоиться о том, как бы угодить Пекину. По мнению Трояновского, разрыв с Китаем «дал ему гораздо больше пространства для поисков взаимопонимания с Соединенными Штатами и другими западными странами»<sup>108</sup>. Впрочем, наладить взаимопонимание Хрущев уже не успел.

Во-вторых, разрыв был «выгоден» тем, что коллеги волей-неволей были вынуждены сплотиться вокруг Хрущева — даже если винули в происшедшем его самого. В начале 1963 года посол СССР в Китае Червоненко был «вызван на ковер» за излишнюю мягкость. Вместо того чтобы отчитать проштрафившегося посла, Хрущев поручил это Козлову: тот вежливо выслушал Червоненко, в сущности, совершенно его не критиковал, но Хрущеву потом доложил, что «задал ему хорошую трепку». Мораль этой истории, заключает Червоненко, в том, что Козлов и его коллеги «не разделяли позиции Хрущева по Китаю. Почему они ему об этом не говорили? А это другой вопрос»<sup>109</sup>.

Разумеется, возражать в открытую Хрущеву подчиненные боялись; однако он чувствовал их недовольство. В декабре 1963 года на пленуме, посвященном разрыву советско-китайских отношений, он объяснил, почему, по его мнению, китайцы так «наседают на Хрущева» (он говорил о себе в третьем лице): «Наверное, здесь мама виновата [то есть мать Мао Цзэдуна. — У. Т.]. Если мама ума не дала, никто не добавит (*смех в зале*), даже школа... Тут, может быть, некоторые товарищи со мной не согласятся, — продолжал Хрущев, — но я не хочу вступать в спор, просто выражаю свое мнение». Китайские руководители «думают: вот пройдет пленум ЦК, прочитают они решение и вдруг увидят, что пленум постановил вывести Хрущева из состава ЦК или что-нибудь другое в этом роде. Что можно сказать по этому поводу? Товарищи! Мне уже идет семидесятый год. Я не для себя работаю, а для партии, для народа. Партии и народу ре-

шать — быть мне на этом посту или нет». Однако «есть еще, как говорится, порох в пороховницах! (*Все встают. Бурные продолжительные аплодисменты*)»<sup>110</sup>

Суслов не жалел красноречия для защиты Хрущева: хотя китайцы и стараются «поссорить Хрущева с Центральным Комитетом», их «грязная игра» обречена на неудачу<sup>111</sup>. Девять месяцев спустя Суслов будет председательствовать на пленуме, отправившем Хрущева в отставку.

Летом 1963 года Хрущев открыл для себя очередную панацею: минеральные удобрения. Американцы производят 35 миллионов тонн удобрений на 118 миллионов гектаров пахотной земли, а Советский Союз на свои 218 миллионов гектаров — только 20 миллионов тонн. Необходимо в ближайшие четыре года увеличить производство удобрений вчетверо. Повышения мощности существующих заводов для этого мало — нужно построить 60 новых. Конечно, шесть миллиардов рублей — деньги немалые; однако освоение целины стоило стране 5,3 миллиарда, и эти вложения в конечном счете себя оправдали<sup>112</sup>. Через несколько дней после изложения этой программы в Президиуме Хрущев принимал госсекретаря США по сельскому хозяйству Орвилла Фримена. В беседе с ним он (без всякого утверждения своих планов Президиумом и пленумом) повысил нужное количество удобрений до сотни миллионов тонн, а вкладываемые средства — до 10 миллиардов рублей. Кроме того, Хрущев благодушно поведал американцу, что планирует дальнейшее сокращение расходов на оборону<sup>113</sup>.

Той же осенью почти по всей территории России разразилась засуха. Через два года после обещаний молочных рек с кисельными берегами люди выстроились в очереди за хлебом. В центральные газеты полетели взволнованные письма, но Брежнев и прочие боялись показывать их «старикам»<sup>114</sup>. Когда, наконец, на совместном обеде членов Президиума Косыгин решил открыть Хрущеву глаза на положение в стране, тот поначалу спокойно продолжал есть, как будто не понял; взорвался он, когда Косыгин предложил закупить зерно за границей. На эту меру пришлось пойти, когда министр сельского хозяйства доложил, что страна буквально осталась без хлеба: Хрущев закупил 6,8 миллиона тонн пшеницы в Канаде, 1,8 миллиона тонн в Австралии, почти 2 миллиона в Соединенных Штатах и даже 400 тысяч тонн в нищей Румынии<sup>115</sup>.

Всю осень Хрущев метался в поисках выхода. 5 сентября он преподнес Президиуму записку, в которой клеймил



«варварское отношение к удобрениям» и «нашу бесхозяйственность, неповоротливость, неумение распоряжаться своими богатствами [минеральными удобрениями]»<sup>116</sup>. То, что он увидел несколько дней спустя в волгодонском колхозе, его «не порадовало». Проблема, жаловался он местным чиновникам, в том, что «в сельском хозяйстве нередко каждый профан может не только сам работать, где ему хочется, но и берется учить других, хотя сам в деле толком ничего не понимает»<sup>117</sup>. На следующей остановке, в Краснодаре, Хрущев обнаружил, что местные колхозники нерационально расходуют удобрения: «Это невероятно для американского фермера. Он же деньги платит за удобрения и знает: если их не использует, то, как говорится, вылетит в трубу»<sup>118</sup>. Некоторое время спустя на столах у членов Президиума появилась новая записка, один из пассажей которой звучал зловещим предсказанием: многие руководители колхозов и совхозов «изрежили себя» и не понимают, что им давно пора уступить место молодым<sup>119</sup>.

Урожай 1963 года был катастрофически низок: всего 107,5 миллиона тонн зерна (в 1958-м урожай составлял 134,7 миллиона тонн). Целинные земли дали самый низкий урожай за восемь лет, хоть площадь их с 1955 года и увеличилась на десять тысяч гектаров. В Кремле всерьез подумывали о введении карточек<sup>120</sup>. Однако и в феврале 1964-го Хрущев продолжал уповать на «чудотворцев» вроде Трофима Лысенко и Росуэлла Гарста и клеймить «дубиноголовых» министров<sup>121</sup>.

«Отец не понимал, что же он делает не так, — писал Сергей Хрущев. — Нервничал, сердился, бранился, искал выхода — и не находил. Возможно, где-то в глубине души, в подсознании, он начинал понимать, что проблема — в самой системе; однако изменить своим убеждениям не мог»<sup>122</sup>.

Впрочем, у Хрущева еще сохранились надежды на будущее. Он увлекся идеями харьковского экономиста Евсея Либермана, статьи которого вдруг начали появляться в «Правде»<sup>123</sup>, и Ивана Худенко, председателя колхоза в Казахстане, который ввел у себя контрактную систему, увеличив производительность буквально за один день. Кроме того, Хрущев подумывал о введении гласности и о выборах в органы власти из нескольких кандидатов<sup>124</sup>. Во время визита в Югославию в конце лета 1963 года он проявил интерес к югославскому «самоуправлению», основанному на «рабочих советах». Однако, когда Тито рассказывал гостю о югославской экономической модели, Хрущев слушал его невнимательно: куда больше его интересовала новая игрушка — кар-

манные часы в виде фотоаппарата<sup>125</sup>. В августе 1963-го, во время встречи с правительством Украины в Межгорье, на вилле, где он жил в тридцатых — сороковых годах, Хрущев держал при себе включенный переносной радиоприемник, постоянно вертел ручку настройки, слушал новости, которые передавали западные радиостанции, а затем пересказывал изумленным собеседникам то, что услышал<sup>126</sup>.

Тем же летом, проезжая мимо городка, предназначенного для обслуживания недавно завершенной Кременчугской гидроэлектростанции, Хрущев заметил у дороги табличку, гласящую, что городу присвоено название «Хрущев». При Сталине называть населенные пункты в честь руководителей страны было обычной практикой, но Хрущев всегда горячо ее осуждал. На этот раз, впрочем, он промолчал — и только в последний момент, уже садясь на теплоход в Днепропетровске, вдруг взорвался: «Вы разве не читали резолюций Центрального Комитета?! Или думаете, что они для вас необязательны?! Я настоял на запрете называть города в честь руководителей. И что же я здесь вижу? Свое имя! Вы понимаете, в какое положение вы меня поставили?»<sup>127</sup>

Но местные руководители знали, что делают. И в прежние годы Хрущев легко поддавался на лесть: теперь же это искушение сделалось для него непреодолимым. Когда помощники показали ему льстивый документальный фильм под названием «Наш Никита Сергеевич», рисующий его биографию в житийных тонах, он просмотрел фильм в молчании, не стал его хвалить, но и не запретил к показу<sup>128</sup>.

В начале мая 1964 года Хрущев поехал в Египет на торжественное открытие Асуанской плотины. Перед отъездом он принял в Москве египетского журналиста и доверенного человека Насера Мохаммеда Хейкала, которого «шеф» (так называл своего тестя Аджубей) хотел расспросить о Египте. Хейкал провел целый день у Хрущева на даче и еще четыре дня — с ним на теплоходе, плывущем в Александрию. «Спрашивать буду я, а не вы», — пообещал Хрущев — однако вместо этого без перерыва говорил обо всем на свете, начиная с победы при Суэце и кончая действиями Сталина в годы войны. На третье утро плавания он наконец задал Хейкалу вопрос о сельском хозяйстве, однако почти сразу прервал его: «Все это ерунда. Вы попусту тратите время. Знаете, что вам нужно? Химические удобрения — вот ответ!» И еще гидропоника, вполне способная заменить орошение пу-

стыни: «Не нужно вам орошать пустыню. Просто расставьте контейнеры с водой. Как вы думаете, президент Насер знает о гидропонике? У меня есть об этом статья и фильм, могу ему прислать. Это вам поможет лучше любой плотины!»<sup>129</sup> Только на четвертый день пути Хрущев наконец начал задавать вопросы о религии, языке, обычаях и политике Египта.

В перерывах между беседами с Хейкалом Хрущев готовился к переговорам с Насером. Другие члены делегации умирали от желания поиграть в домино, но в его присутствии не осмеливались. «Игры любого рода отец не одобрял, — вспоминает Сергей Хрущев, тоже входивший в состав делегации. — Считал их пустой тратой времени. На бильярд, домино или карты у него никогда не было времени». Сергей вспоминал, как в другой поездке Брежнев, Подгорный, Гречко и другие доставали домино, едва Хрущев скрывался у себя в каюте, и прятали, как только он оттуда выходил<sup>130</sup>.

В прошлом между Москвой и Каиром существовали трения, и Хрущев опасался, что его примут без особой пышности. Однако прием превзошел его ожидания: когда «Армения» вошла в порт и Хрущев увидел многотысячную толпу, собравшуюся на причале, на глаза его навернулись слезы. Переговоры с египтянами прошли не вполне успешно, однако все разногласия (Насер хотел получить больше денежной и военной помощи, чем могла себе позволить Москва; Хрущев требовал, чтобы Египет жил в мире с соседями) померкли перед торжественным открытием плотины. Хрущев и Насер нажали кнопку; потоки нильской воды с громовым ревом рванулись вперед; все высокопоставленные гости (в том числе президенты Ирака, Йемена и Алжира) получили памятные золотые медали. Хрущев гордо принял «Ожерелье Нила» — высшую награду ОАР. В ответ он наградил Насера и маршала Абделя Хакима Амера звездами Героев Советского Союза. В октябре 1964 года Дмитрий Полянский присовокупил к прочим прегрешениям Хрущева и то, что тот вручил высшую советскую награду человеку, отправлявшему коммунистов в концлагеря<sup>131</sup>.

Большую часть времени Хрущев наслаждался поездкой. Он с готовностью играл роль благодетеля, одаривая благодарный египетский народ помощью и добрыми советами, а антикоммунистических лидеров — например, иракского президента Арефа — с удовольствием ставил на место. Египетские оазисы напоминали ему рай — как представлял он его себе мальчишкой на уроках в церковно-приходской

школе. Однако стояла невыносимая жара, и вид Нила с самолета наводил на Хрущева тоску: позже он вспоминал, что вид реки посреди «огромного безводного пространства» напомнил ему о смерти<sup>132</sup>.

К концу визита многие начали замечать, что Хрущев стал раздражителен и груб. Недовольный тем, что Ареф отправляется в круиз по Красному морю, он рассказал анекдот времен Русско-японской войны. На одном корабле капитан был «дурак и мерзавец», а его помощник — хороший моряк и разумный командир, всеми любимый. Когда корабль затонул, матросы радовались гибели капитана и оплакивали гибель его помощника. Вдруг пришло известие, что капитан выжил. «Знаете, что сказали матросы? — продолжал Хрущев. — Золото тонет, а дерьмо плавает!» И, словно опомнившись, поспешно добавил: «Я, конечно, не говорю о присутствующих»<sup>133</sup>.

Визит длился почти три недели. Несколько дней Хрущев провел в летнем дворце короля Фарука в Александрии. Однажды за обедом он вдруг воскликнул: «А что это все молчат?! Как-то скучно у нас! Где музыка?.. Вы играйте», — приказал он Громыко, протягивая ему тарелку и барабана по ней вилкой. Затем обернулся к Гречко: «А вы, маршал, танцуйте!» Громыко со слабой улыбкой взял тарелку; на лице Гречко отразились смятение и обида. Эта сцена странно напоминала последние годы жизни Сталина, когда тот издевался над Хрущевым, заставляя его танцевать<sup>134</sup>.

Что-то глодало Хрущева изнутри. Еще до отъезда в Ялту Хейкал был поражен тем, как он «полушутя-полусерьезно» высмеивал своих коллег. Когда киевский партийный босс Петр Шелест торжественно заверил, что обо всем позаботится в его отсутствие, Хрущев оборвал его: «Товарищ Шелест, вы так говорите, словно я не вернусь... Но я вернусь, и когда вернусь, вы мне дадите полный отчет...»

Несколько раз в Египте Хрущев называл себя «простым мужиком». Ел и пил он действительно по-мужицки — однажды умял в один присест шесть больших пирожных, хотя дочь Рада шепотом умоляла его остановиться, в другой раз налил суп в соусницу и выхлебал без помощи ложки. Однако в день отъезда из Египта Хрущев признался, что огорчен, узнав, что Хейкал описал его в очерке как «простого крестьянина».

— Но, господин председатель, — возразил Хейкал, — вы же сами говорили, что этим гордитесь!

— Вы написали, что я похож на мужика из романов Достоевского. Почему Достоевского, а не Толстого?

Едва ли Хрущев так хорошо знал обоих авторов, чтобы сравнивать концепцию изображения народа у того и другого. Скорее, Толстому, «зеркалу русской революции», он доверял, а вот от Достоевского — подозрительного «реакционно-мистического писателя» — не ждал для себя ничего хорошего.

25 мая Хрущев покинул Египет, а уже 16 июня отправился в поездку по странам Скандинавии. Позже он признавал, что эта поездка «не имела особого политического значения». Поехал он туда главным образом потому, что этот запланированный визит уже несколько раз откладывался и оттягивать его дальше было бы неудобно. «Погода стояла солнечная, — вспоминает Аджубей, — однако что-то грустное чувствовалось в этом путешествии». Хрущев был странно рассеян: всегда чрезвычайно чувствительный к тому, как его принимают, теперь он не обращал внимания на церемониал. В Швеции его поначалу не хотели приветствовать двадцать одним оружием залпом, поскольку официально Хрущев не являлся главой государства, однако советские дипломаты настояли на протоколе встречи на высшем уровне. Когда «Башкирию» при входе в стокгольмский порт приветствовал слитный гром церемониальных выстрелов, Хрущев спросил: «Чего они палят?» — и, не дожидаясь окончания канонады, скрылся у себя в каюте<sup>135</sup>.

Речам, которые произносил Хрущев в Скандинавии, не доставало обычной энергии и огня. Ритуальный отчет перед советским народом по возвращении звучал скучно и вяло. В мемуарах глава о путешествии в Скандинавию напоминает рассказ обыкновенного туриста: Хрущев рассказывает, как побывал на судостроительном заводе и как Нина Петровна, по обычаю, разбила о борт только что отстроенного корабля бутылку шампанского; о том, что дочь датского короля — «совсем девчонка, и, я бы сказал, очень красивая», и о том, что человек, встретивший его у дверей королевского дворца в Осло, «в военном френче цвета хаки», проведший Хрущева в кабинет и предложивший ему кресло, оказался королем. «А внешне выглядел так, что его можно было принять за садовника», — удивляется Хрущев<sup>136</sup>.

Официальные стенограммы бесед Хрущева с первыми лицами государств также не вдохновляют. Так, королю Дании «Н. С. Хрущев рассказывал о замечательных условиях для охоты в различных регионах СССР». Королева Ингрид и наследница трона принцесса Маргрете беседовали с высо-

ким гостем «о состоянии советского театра, музыки и балета»<sup>137</sup>. Даже те важные уроки, которые он получил в Скандинавии, оставили горький привкус. И много лет спустя Хрущев, закрывая глаза, видел перед собой сельскохозяйственные «чудеса» маленькой Дании. «Да, я понимаю, что это чудеса — для нас, — добавляет он, — а для других стран тут уже давно завоеванные позиции, и никаких чудес нет». В Норвегии он понял, почему местные коммунисты столь непопулярны. «Дело в том, — объяснили ему, — что у нас многие рабочие имеют дома, морские катера, другую собственность»<sup>138</sup>.

Хрущев начал подумывать об отставке: он часто заговаривал об этом и дома, и в Кремле. «Мы — старики, свое отработали, — говорил он коллегам по Президиуму. — Пора уступить дорогу другим. Надо дать молодежи шанс поработать». Но те полагали, что Хрущев шутит или проверяет их лояльность, как любил делать в конце жизни Сталин. Не испытывая никакого желания уходить на пенсию, они отвечали: «О чем вы говорите, Никита Сергеевич? Вы прекрасно выглядите! Вы гораздо крепче, чем большинство молодых».

Хрущева, несомненно, волновал вопрос о наследнике. В Советском Союзе не существовало установленной процедуры передачи власти. После смерти Ленина и Сталина разворачивались битвы за власть, потрясавшие всю систему. Ограниченный срок пребывания у власти и четко разработанная процедура смены лидеров могли бы помочь делу, но ограничили бы самого Хрущева. Он мог бы попытаться вырастить себе преемника — но наследник, скорее всего, начал бы угрожать его собственной власти. А попытка снизить такую опасность, избрав двух потенциальных наследников, соперничающих друг с другом, грозила масштабной борьбой за власть после его смерти.

Первый заместитель Хрущева Алексей Кириченко уже проявил агрессивность и нетерпимость к возможным соперникам. Когда он попытался самостоятельно перевести Шелепина из Москвы в Ленинград, Хрущев взорвался. Стуча кулаком по столу, он орал на него по телефону: «Ты что?! Эта номенклатурная должность не обсуждалась! Ленинград — это моя личная номенклатура!...»<sup>139</sup>

За Кириченко шел Фрол Козлов. Этот бывший инженер-металлург, ставший партийным боссом, обращал на себя внимание тщательно завитыми светлыми волосами и безу-

пречным костюмом. «Он все-таки не такая деревенщина, как мы», — замечал Хрущев Гарриману в 1959 году<sup>140</sup>. По воспоминаниям его потенциального соперника Шелепина, Козлов был «очень ограниченный человек. Единственное сильное место — голосовые связки... Он вообще не работал. Придешь к нему — на столе ни бумаги, ни карандаша нет — чисто! И это второй человек в партии!» Микоян считал Козлова «неумным человеком, просталински настроенным реакционером, карьеристом»<sup>141</sup>.

Вплоть до начала 1963 года Козлов был послушным орудием Хрущева, но с этого времени, как вспоминает Сергей Хрущев, «начал действовать относительно самостоятельно». К этому времени, по рассказу Петра Демичева, другие члены Президиума смотрели на Козлова как на второго человека в партии. Никакой организованной оппозиции не существовало: напротив, вспоминает Сергей, «отцу Козлов нравился... То, что он иногда спорил с отцом и возражал ему, вызывало у отца не раздражение, а уважение»<sup>142</sup>. Однако Козлов временами допускал промахи, как, например, в мае 1963 года, когда позволил себе включить в ритуальное приветствие КПСС союзным коммунистическим партиям по случаю Первого мая намек на изменение отношений с Югославией. Хрущев в это время отдыхал в Пицунде: там он и заметил, что Югославия в документе именуется страной, «строящей» социализм, а не «заложившей основы социализма». Различие кажется ничтожным, однако в свете стремления Хрущева всемерно укрепить отношения с Тито оно имело большое значение.

В присутствии Сергея Хрущев позвонил Козлову и потребовал исправить фразу, однако наткнулся на возражения. В какой-то момент «отец начал кричать на Козлова, обвинял его в пристрастном отношении...»<sup>143</sup>. И, конечно, употреблял самые резкие выражения. Шелепин вспоминает сцену на охоте в Беловежской Пуше: Хрущев и Козлов выстрелили одновременно в одного и того же кабана, которого загонщики выгнали прямо на них. Каждый был уверен, что кабана убила именно его пуля, и ни один не хотел уступать. Наконец Хрущев приказал разрезать кабана и достать пули. Когда выяснилось, что подстрелил кабана именно он, Хрущев потребовал пулю себе, сохранил ее и на заседаниях Президиума порой доставал из кармана, постукивал ею по столу и как бы невзначай вертел перед носом у Козлова<sup>144</sup>.

Однако вскоре — неизвестно, вследствие каких-либо событий или в результате давних недомоганий — Козлов перенес тяжелый инсульт, и вопрос о нем как о преемнике от-

пал сам собой. Нужно было искать другого кандидата. Шелепин, говорил Хрущев сыну, не готов принять власть, первый секретарь ЦК компартии Украины Николай Подгорный — «узколобый человек», да и Брежнев «тоже не годится». У него, правда, имеется опыт практической и аппаратной работы, однако «перед войной, когда он был секретарем в Днепропетровской области, наши ребята прозвали его “балериной”, потому что им любой мог вертеть, как хотел».

Борьба за власть была самым священным кремлевским секретом. Никогда прежде — и никогда после — этого разговора Хрущев не обсуждал с сыном кадровые проблемы. «Как же, должно быть, одиноко ему было, — замечает Сергей, — если в конце концов, не выдержав, он поделился этими мыслями со мной!»

В тот же вечер Хрущев снова заговорил об отставке: «Силы у меня уже не те, что были, пора уступить дорогу молодым. Дождусь XXIII съезда — и подпишу заявление об уходе на пенсию... Когда я вошел в Политбюро, мне было сорок пять. Хороший возраст для работы: сила еще есть, и много времени впереди. А в шестьдесят лет о будущем уже не думаешь. Пора внуков нянчить»<sup>145</sup>.

Однако решиться на уход Хрущев так и не смог. Вместо этого, по словам Микояна, он «снова и снова говорил при всех о том, что необходимо расширить Президиум, ввести в него молодежь». Эти разговоры очень напоминали его коллегам сталинские преобразования 1952 года; они опасались, что следующим шагом может стать их увольнение. «Он как будто нарочно создавал себе врагов», — замечает Микоян<sup>146</sup>.

Семидесятый день рождения Хрущева ознаменовался новыми потоками лести: на радио — бесконечные поздравления от советских граждан и иностранцев, в журналах и газетах — восхваления «великого десятилетия», на груди — еще одна золотая звезда Героя Социалистического Труда<sup>147</sup>. Рано утром 17 апреля охранники внесли в гостиную хрущевского особняка огромную радиотелевизионную консоль с табличкой: «От Ваших товарищей по работе в Центральном Комитете и Совете Министров». Подарок был нарушением собственных правил Хрущева. «Никаких подарков!» — требовал он обычно. Но ни родные, ни коллеги этому правилу не подчинялись, прекрасно зная, что возмущается и ворчит он лишь для виду.

С девяти утра начали появляться гости: родные, члены Президиума, секретари ЦК. Остаток дня предстояло посвя-



тить публичному празднованию, а пока товарищи могли поздравить Хрущева в частном порядке. Не смея достать сигареты (Хрущев не терпел курящих), они спокойно поджидали появления шефа — в элегантном темном костюме, с тремя звездами Героя Социалистического Труда на груди. Все расселись за большим столом в столовой, и начались речи. Брежнев как председатель Верховного Совета (и формальный глава страны) зачитал поздравительный адрес: «Дорогой Никита Сергеевич! Мы, ваши товарищи по оружию, члены и кандидаты в члены Президиума и секретари Центрального Комитета, поздравляем Вас, нашего лучшего друга и товарища, с семидесятилетним юбилеем».

Смахнув слезу, Брежнев обнял Хрущева и преподнес ему только что прочитанный адрес — в красивой кожаной папке, с подписями всех гостей. Во время пространных тостов Брежнев и Суслов заметно нервничали. Немного посидев за столом, гости заявили, что не хотят утомлять Никиту Сергеевича, и начали расходиться, хотя, по словам Петра Шелеста, «чувствовалось по настроению Хрущева, что он не хотел и не ожидал такого поспешного удаления» гостей<sup>148</sup>.

Фотограф, присутствовавший на этом неформальном собрании, запечатлел выразительную сцену: Хрущев, поднявшись из-за стола, с бокалом в руке обращается к своим коллегам. Говорит он, по-видимому, уже долго. Напротив сидит Брежнев со скромно опущенными глазами: по лицам Нины Петровны, дочери Хрущева Елены и Анастаса Микояна ясно видно, что настроение у них отнюдь не праздничное<sup>149</sup>.

К этому времени Хрущева уже едва терпели. Еще в начале марта Брежнев и Подгорный начали «прощупывать» членов Президиума<sup>150</sup>. В июне Брежнев строил планы ареста Хрущева сразу после его возвращения из Скандинавии<sup>151</sup>. Однако он и его сподвижники опасались судьбы, которая постигла соперников Хрущева в 1957 году, и потому решили заручиться поддержкой большинства членов Президиума, а затем действовать наверняка.

У Брежнева было много общего с Хрущевым: скромное происхождение, недостаток образования и общей культуры (как рассказывают, что якобы он не читал ничего, кроме официальных документов и журнала «Крокодил»), обаяние, открытая и дружелюбная манера общения. Брежнев не отличался сильным характером, но был тщеславен, и скромная роль формального главы государства его не удовлетво-

рыля. Кроме того, его выводили из себя снисходительно-пренебрежительное отношение Хрущева и его постоянные насмешки. В июле 1964 года Хрущев сделал Брежнева и Подгорного своими заместителями, однако продолжал насмехаться над ними, в частности, спрашивал других членов Президиума (которые, конечно, передавали эти слова Брежневу и Подгорному): «Неужели вы всерьез считаете, что эти двое способны управлять страной?» Брежнев скрывал свое негодование и усиленно льстил Хрущеву, доходя даже до восторженно-подхалимских записей в собственном календаре (например, «Встреча с Никитой Сергеевичем — жду с нетерпением») на случай, если туда кто-нибудь заглянет<sup>152</sup>.

Пленум ЦК в июле 1964 года обернулся новой ступенью в падении Хрущева. Руководитель страны вел себя так, что ни он сам, ни его наследники не решились опубликовать документы пленума, и в советский фольклор он вошел как «пленум, которого не было»<sup>153</sup>. Хрущев потребовал, чтобы Академия сельского хозяйства была перенесена из Москвы в деревню, «поближе к практике»<sup>154</sup>. Призвал распустить Академию наук, блистательная история которой восходит к XVIII столетию. Первый секретарь Московского горкома Николай Егорычев сидел в зале рядом с президентом академии Мстиславом Келдышем. «Это невозможно! — бормотал Келдыш. — Невозможно! Я уйду в отставку, но на это не соглашусь!» Вскоре после пленума Егорычев спросил Суслова, вместе с которым летел в Париж, действительно ли руководство обсуждало решение о роспуске Академии наук. «О чем вы говорите, товарищ Егорычев?! — воскликнул обычно невозмутимый Суслов. — О чем вы говорите?! Конечно, нет. Нет, нет, нет!»<sup>155</sup>

Из академиков Хрущев уважал только печально знаменитого Лысенко. Вскоре после смерти Сталина он было поверил, что Лысенко — шарлатан и «замешан в грязных делах»; однако тот вновь нашел путь к его сердцу, выиграв спор с другим академиком, Николаем Цициным. Оба утверждали, что нашли способ увеличить производство зерновых. Соревнование происходило на колхозном поле неподалеку от дачи Хрущева: он регулярно навещал колхоз и узнавал, как растут посевы. У Цицина пшеница взошла раньше, но у Лысенко она была выше и качественнее<sup>156</sup>.

Как «эксперимент» это мероприятие было бессмысленно — за посевами не велось научного контроля; однако «результаты» убедили Хрущева и заставили его поверить, что Лысенко способен на чудеса. В апреле 1963 года двое лысенковцев получили Ленинскую премию, причем Хрущев заста-

вил комитет, присуждавший премии, изменить свое первоначально негативное решение. В июне он попытался пропихнуть троих последователей Лысенко в Академию наук. Однако известные физики Андрей Сахаров, Игорь Тамм и другие, выступив на заседании академии, обвинили Лысенко и его последователей в шарлатанстве, а одного из номинантов — в доносе на великого генетика Николая Вавилова, погибшего в ГУЛАГе, и номинирование не состоялось<sup>157</sup>.

Такова была подоплека вспышек ярости Хрущева на июльском пленуме. Однажды вечером на даче Сергей и Рада Хрущевы (Рада имела биологическое образование, хотя потом окончила журфак и работала в журналистике) попытались поговорить с отцом о Лысенко. Они сидели на веранде с видом на Москву-реку, когда Хрущев, ни к кому не обращаясь, проворчал, что Лысенко преследуют всякие «антинаучные идеалистические вейсманисты-морганисты». Возьмется с какими-то мухами, только время зря тратят: то ли дело Лысенко — он ставит опыты сразу на коровах! В ответ Рада начала защищать исследования на дрозофилах. Вместе с Сергеем она высмеяла заявление Лысенко о том, что «генов никто не видел». Атомов тоже никто не видел — но это не помешало СССР создать атомную бомбу! То, что произошло дальше, Сергей описывает так: «Этот разговор по-настоящему рассердил отца. Он никогда не кричал на родных, никогда не ругался и не повышал голос... Но тут он вспыл и принялся на повышенных тонах повторять старые, хорошо известные нам аргументы: что нечистоплотные люди используют нас в своих целях, а мы ничего не понимаем и лишь повторяем их слова. Наконец, совершенно выйдя из себя, заявил, что носителей чуждой идеологии у себя в доме не потерпит и если мы не передумаем, можем к нему на порог не являться». Присутствовавший при этом Серго Микоян добавляет, что Хрущев топал ногой, стучал кулаком по столу и приказывал дочери «заткнуться»<sup>158</sup>.

Одно из первых правил тирана — не покидать столицу, если в ней остаются соперники. Однако в 1963 году Хрущев провел вне Москвы 170 дней, а в первые девять с половиной месяцев 1964 года — 150<sup>159</sup>. В середине июля 1964-го он отправился в Варшаву на празднование двадцатилетия Польской Народной Республики. Половину августа провел в путешествии по сельскохозяйственным регионам, от Саратовской области до Средней Азии. Сделав короткую передышку, с 27 августа по 4 сентября побывал с визитом в Чехословакии.

Спичрайтеру Федору Бурлацкому, бывшему в Чехословакии вместе с ним, Хрущев показался «счастливым, всем довольным, на подъеме сил»<sup>160</sup>. Андрей Шевченко лучше изучил своего шефа. Однажды во время августовского тура по провинции Хрущеву позвонили среди ночи из Москвы: на Кипре начались беспорядки, и требовалось утвердить заявление советского МИДа по этому поводу. На следующий вечер, перед тем как лечь спать, Хрущев подозвал Шевченко: «Устал, — говорит, — чертовски. Пойду отдохну. Если и война, не будите»<sup>161</sup>.

Прежде поездки на целину радовали Хрущева. Теперь же, по воспоминаниям партийного функционера Федора Моргуна, «он был раздражен, не шутил, избегал разговоров. Казалось, он чем-то очень озабочен»<sup>162</sup>. В этой же поездке Хрущев в первый раз накричал на своего многолетнего верного помощника Шевченко. Примерно в то же время Шевченко стал свидетелем громкой ссоры Никиты Сергеевича с Ниной Петровной<sup>163</sup>.

В конце августа, в воскресенье, получили взбучку двое других его подчиненных. Хрущев заехал в подмосковный санаторий, где отдыхали московские руководители Николай Егорычев и Владимир Промыслов. Он поинтересовался, из какого материала делают сиденья унитазов в новых московских квартирах, и, услышав, что из дерева, сердито возразил: «Вот, я так и знал. Вы расточители! Сколько древесины тратите на это дело?! Я вот что скажу: надо сиденья изготавливать из пластмассы. Вот я недавно был в Польше. В особняке жил. Садись на такой толчок, и тебе не холодно. Вот ты поезжай, посмотри и давай внедряй в Москве». С такими словами он сел в машину и отбыл на дачу. «Это, — меланхолически замечает Егорычев, — были последние указания Хрущева о том, как решать вопросы в Москве»<sup>164</sup>.

В начале сентября Хрущев побывал на военной базе в подмосковной Кубинке, на демонстрации новых танков, артиллерии и вертолетов. Маршалы гордо доложили ему о проделанной работе и планах на будущее, но Хрущев в ответ устроил им жесточайший разнос. «Мы что, собрались кого-то завоевывать?» — гневно поинтересовался он у министра обороны Малиновского. И сам ответил на свой вопрос: «Нет. Так зачем же нам все это вооружение?» В наше время война может быть только ядерной, однако ядерная война невозможна: значит, нужно обходиться минимумом вооружений, тем более что расходы на оборону истощают госбюджет. «Иначе, — заключил он, — из-за вас мы все без штанов останемся».

Эта шутка, сопровождаемая дружеским тычком Малиновскому под ребра, должна была разрядить напряжение. Однако, по словам Сергея Хрущева, «шутка не удалась. Малиновский выдавил кислую улыбку. Все промолчали»<sup>165</sup>.

Проведя десять дней на космодроме в Тюратаме, Хрущев вернулся в Москву, принял президента Индонезии Сукарно и снова укатил — на этот раз на юг. Несколько дней он осматривал Крым: первый секретарь ЦК компартии Украины Петр Шелест заметил, что его высокий гость выглядит подавленным и обеспокоенным. Хрущев неприязненно отзывался о Суслове («человек в футляре») и презрительно (в числе других «краснобаев и кривляк») — о Микояне<sup>166</sup>. В Крыму Хрущев собирался провести отпуск, однако там было пасмурно и дождливо, и он перебрался в Пицунду. Отпуск Хрущева официально начался 3 октября. До его отставки оставалось десять дней.